

В. МАЯКОВСКИЙ





ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
МАЯКОВСКИЙ
1893—1930

849-1-11
750

26229 0795 *200г.*

В. МАЯКОВСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Центр культуры "Горный Щит"
г. Екатеринбург

Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1955

Муниципальное учреждение
культуры
ЦК «Горный Щит»
БИБЛИОТЕКА
г. Екатеринбург п. Горный Щит

657
422
648
75
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

*Печатается по тексту Полного собрания сочинений
В. В. Маяковского (Гослитиздат, 1939—1949 гг.)
с исправлением замеченных ошибок и опечаток*

*Составление, подготовка текста,
примечания и вступительная статья
В. О. ПЕРЦОВА*

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

I

С каждым годом, с каждым новым поворотом истории, с каждым шагом приближения нашего к коммунизму все ярче выступает огромное значение творческого наследия Маяковского. Самобытное творчество поэта-новатора отразило беспрецедентную силу и красоту новой жизни. Русская поэзия сделала в творчестве Маяковского новый шаг вперед, утвердив величие своих традиций — традиций Пушкина, Гоголя, Некрасова — в совершенно новых исторических условиях, созданных победой Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране.

Каждое произведение великого советского поэта было откликом на явления жизни, «зовом» поэта к своим современникам по самым важным для данного момента вопросам. Маяковский беспощадно издевался над теми поэтами и писателями, которые, под прикрытием работы «на вечность», уходили от современности, от острой темы, от злобы дня. «Мне любо с газетой бодрствовать...» — говорил Маяковский. Поэтам, оторвавшимся от интересов дня, от работы на сегодня, он предлагал:

Слезайте
с неба, заоблачный житель!
Снимайте
мантии древности!
Сильнейшими
узами музу вяжите,
как лошадь,
в воз повседневности.

Таких поэтов и писателей Маяковский называл «птичка божия», говорил о них, что они чирикают, блеют «барашком златошерстым».

Маяковский прошел большой и сложный творческий путь. Он начинал еще до Октября, в эпоху реакции. С самых первых литературных выступлений его вела ненависть к буржуазии, его поднимала мечта «дать язык безъязыкой улице». Стремясь прийти на помощь страдающим людям — жертвам капитализма, Маяковский в образах своих ранних произведений не был свободен от утопических иллюзий. Но очень скоро он пробился к революционной теме и создал свою знаменитую поэму «Облако в штанах», где есть прямое предсказание неизбежности прихода революции и прямой призыв к ней. В этой творческой победе сказалась органическая близость поэта к русскому революционному движению, в котором Маяковский принимал участие еще до начала своей литературной деятельности. Эта победа была по существу и первым конфликтом его с тем чуждым футуристическим окружением, с которым было связано вступление Маяковского на литературное поприще. Поэму «Облако в штанах» молодой поэт читал А. М. Горькому. Она произвела огромное впечатление на великого пролетарского писателя. В 1915 и 1916 годах не кто иной как Горький выдвигал Маяковского в первые ряды революционной литературы, угадывая в нем сквозь чужеродные наслоения будущего великого поэта революции, опираясь на него в борьбе против буржуазного декаданса.

В автобиографии Маяковский говорит о своем отношении к Великой Октябрьской социалистической революции: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня не было. Моя революция».

Такова была ясная, вытекавшая из всего его идейно-художественного развития до Октября, позиция Маяковского. Однако эта позиция сама по себе еще не обеспечивала ему того, к чему он стремился во всей своей деятельности после Октября и что он называл «местом поэта в рабочем строю». Поиски места поэта в классовой борьбе были связаны прежде всего с борьбой за его идейный рост, за большевистское мировоззрение. Новое содержание искусства, вытекавшее из победы Октябрьской революции, требовало также и новой художественной формы. Только при этом условии поэт мог добиться максимальной действенности своего искусства — в этом видел Маяковский задачу революционного поэта.

Едва ли не первой попыткой советской литературы перевести на язык образов идеи и содержание жестокой классовой борьбы было «героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи», сделанное Маяковским в «Мистерии-буфф». Пьеса Маяковского была поставлена ко дню первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Впоследствии поэт вспоминал: «Мистерия была прочитана в комиссии праздников и, конечно, немедленно подтверждена

к постановке. Еще бы! При всех ее недостатках она достаточно революционна, отличаясь от всех репертуаров...

«При всех ее недостатках...» Поэт понимал, что старые, формальные приемы и отвлеченные аллегории, без которых он тогда еще не мог обойтись, являлись слабой стороной его пьесы. Однако в своей фантастической форме «Мистерия-буфф» правдиво отражала реальные черты исторической действительности. Ощущение классовой борьбы, поделившей мир на два враждебных лагеря, поставившей каждого по ту или по эту сторону баррикад, — это самое непосредственное ощущение современности пронизывало всю пьесу, в которой поэт использовал библейскую легенду о всемирном потопе: этот легендарный сюжет Маяковский положил в основу своей «Мистерии-буфф», уподобив крушение капитализма всемирному потопу. В развязке пьесы «нечистые», то есть представители трудящихся, во главе с кузнецом и батраком, сбросив с ковчега «чистых», то есть буржуев, прорываются в «землю обетованную» — в Советскую Россию, страну победившего социализма.

Критически-обличительная линия «Мистерии-буфф», сатирически изображавшая буржуазию, была в художественном отношении сильнее, чем линия положительных, героических персонажей. Тем не менее, несмотря на известную отвлеченность фигур кузнеца, батрака, плотника, рудокопа и т. д., — в этих образах торжествовал демократизм Маяковского. Только простые люди, говорил поэт своей пьесой, могут построить «ковчег» социализма для спасения всего человечества.

В условиях гражданской войны, которую развязывала буржуазия, на фоне еще дымящихся развалин войны империалистической, под которыми были погребены десятки миллионов простых людей, отдавших свои жизни за чуждые им интересы, пьеса Маяковского возвеличивала мирный труд советского человека-созидателя:

Трудом любовным
приникнем к земле
все,
дорога кому она.
Хлебьтесь, поля!
Дымитесь, фабрики!
Славься,
сияй,
солнечная наша
Коммуна!

Так заканчивалась «Мистерия-буфф». «Коммунистический спектакль» — назвал свою статью о постановке «Мистерии-буфф» А. В. Луначарский. Эта оценка правильно отмечала идейную сущность пьесы Маяковского. Буржуазные интеллигенты, окопавшиеся в некоторых органах еще не окрепшей советской печати, выступили против

революционного поэта: «Пьеса Маяковского не просто пьеса, а апофеоз советской коммуны... Пьеса, хотя и высоко патриотичная, но...расчитанная на весьма невзыскательные вкусы, тоже высоко патриотичные...»

Классовый враг в своей рецензии на пьесу Маяковского с покусением на иронию назвал ее «патриотичной». Нечаянно враг сказал о пьесе Маяковского правду. Маяковский уже в этот период своего творчества подходил к отражению одной из важнейших движущих сил советского общества. «Мистерия-буфф» Маяковского действительно была апофеозом советской коммуны и, стало быть, пьесой высоко патриотической.

Образ коммуны и образ России-родины сливаются в одно целое в знаменитом «Левом марше». Гордое чувство советского патриотизма возникло у поэта и потребовало своего выражения в создавшейся к концу 1918 года сложной политической обстановке, когда, наряду с бурным подъемом сил международной революции, над страной все тяжелее стали сгущаться тучи: нашествие империализма на молодое Советское государство становилось с каждым днем все более осязаемой реальностью, непосредственной угрозой начавшемуся строительству социализма.

В своей статье «Октябрьский переворот», напечатанной в «Правде» 6 ноября 1918 года, И. В. Сталин указывал: «Выдающуюся роль в Октябрьском восстании сыграли балтийские матросы и красногвардейцы с Выборгской стороны. При необычайной смелости этих людей роль петроградского гарнизона свелась главным образом к моральной и отчасти военной поддержке передовых бойцов».

Образ этих передовых бойцов Октябрьского переворота и был впервые создан в «Левом марше», к этим людям Маяковский и обращался в своем произведении. Пафос дерзания Октябрьской революции, совершившей коренной перелом во всей жизни, в быту и традициях, в культуре и идеологии эксплуатируемых масс всего мира, пафос рождения нового мира — вот смысл призывно-командных слов первой строфы «Левого марша»:

Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Если в дипломатических нотах советское правительство облачало лживость заверений великобританского правительства о его стремлении к миру, то Маяковский прямо назвал в «Левом марше» эти

лживые заверения организаторов интервенции «воем» британского льва, в чеканных поэтических формулах выразив чувства советского патриота: «Коммуне не быть покоренной!», «России не быть под Антантой!»

В «Левом марше» Маяковский занял исходную позицию всего своего творческого пути после Октября: поэтического глашатая идеи советского патриотизма. Дальнейшее развитие эта идея получает в поэме «150 000 000», законченной в начале 1920 года. В этой поэме былинный богатырь Иван воплощает образ русского народа, вступающего в единоборство с мировым капитализмом в лице американского президента Вудро Вильсона.

Первоначально поэма называлась «Былина об Иване» (а еще в стадии замысла — «Воля миллионов»). После «Мистерии-буфф», в которой трудящиеся массы представлены условными фигурами работников разных профессий, попытка Маяковского подчеркнуть национальный характер своего героя, олицетворяющего мощь русского народа, поднимающегося на защиту страны социализма, была дальнейшим продвижением на пути поэта к реализму. Маяковский понимал, что в своей ненависти к Советской республике американский империализм не остановится ни перед какими самыми чудовищными средствами для уничтожения ее. Вот зловещая картинка бактериологической войны из «150 000 000», которая воспринимается сегодня, в свете событий, связанных с американской интервенцией в Корею, как сбывшееся предвидение поэта. Напуганное мощью революционных масс, представителем которых выступает русский богатырь Иван, империалистическое чудовище в образе Вудро Вильсона

новых воинов высылают рой —
смертоноснейшую заразу.
Идут закованные в грязевые брони,
спирохет на спирохете,
вибрион на вибрионе.

Ядом бактерий,
лапами вшей
кровь поганят,
ползут за шей.
Болезни явились
небывалого фасона...

Однако революционный народ не был застигнут врасплох. Сказочное повествование Маяковского правдиво отразило тот оптимизм, который был присущ массам, поднявшимся на борьбу:

Вшей
в упор
расстреливали микроскопом.
Молотит и молотит дезинфекции цеп.

Враги легли,
ножки задрав.
А поверху,
размахивая флаг-рецепт,
прошел победителем мировой Наркомздрав.

Поэт стремился в своей первой большой поэме о русском народе слиться с массами, возвеличить их борьбу, показать силу и красоту их героизма:

В бою
славлю миллионы,
миллионы пою.
вижу миллионы,

Воспевание масс приобретало для Маяковского в тот период его творческого развития значение шага вперед, в жизнь, против буржуазного индивидуализма, которым была заражена большая часть литературной среды, оставшейся от прошлого и активно действовавшей в первые годы советской власти. Однако в «150 000 000» Маяковский еще не мог правильно решить вопрос о взаимоотношениях массы и личности. Возвеличивая роль массы, он не сумел показать роль героических личностей, роль великих людей, которые, правильно понимая исторические условия, идут впереди масс, ведут их за собой. Несовершенны и изобразительные средства поэмы, страдающей известной вычурностью, избытком гипербола и, употребляя позднейшее выражение самого Маяковского, «виньеточных» образов. Тем не менее поэма при всех своих недочетах имела большое значение, свидетельствуя о становлении социалистического реализма в творчестве Маяковского, о горячей вере поэта в конечную победу великой борьбы, начатой трудящимися массами России в интересах всего человечества.

Маяковский хотел своим поэтическим словом непосредственно помогать делу этой борьбы каждый день, каждый час. Работа поэта в 1919—1921 годах в Роста может служить примером самоотверженного служения художника задачам обороны родины. За годы гражданской войны Маяковский сделал несколько тысяч плакатов и подписей к «Окнам сатиры Роста».

«Отдыхов не было,— вспоминал поэт впоследствии об этом периоде своей деятельности.— Работали в огромной, нетопленной, сводящей морозом (впоследствии — выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской Роста. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься...»

Подписи к окнам Роста, которые делал Маяковский, проникнуты неистощимой верой в победу, презрением к трусам и шептунам, злой издевкой по адресу врага.

Этот образ невольно сопоставляется с знаменитым «Премудрым пескарем» Салтыкова-Щедрина, откуда он и пришел в сатиру великого советского поэта: «...Насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать... И прожил премудрый пескарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал...»

Маяковскому нужны были «слова-бичи» для травли всего негодного, мешающего стройке социалистической родины. Остро сатирическое стихотворение «Прозаседавшиеся» понравилось Ленину за резкость, с какой Маяковский «вдрызг высмеял» горе-руководителей, «прозаседавшихся», не умеющих принять самостоятельного решения — «...давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной», — сказал по поводу этого стихотворения Владимир Ильич.

Одобрение Ленина окрылило поэта. Он не пропускает ни одного сколько-нибудь значительного события в международном положении и внутренней жизни Советской республики, чтобы не откликнуться на него. Своей железной строкой он пригвождает к газетному листу лицемерных французских парламентариев, которые устраивают доклады о голоде в Поволжье, организуя в то же время банды белой эмиграции против Советского Союза, разоблачает военные приготовления заграничных «миротворцев», с великолепным презрением отвечает американским «мистерам», сомневающимся в успехах социалистического строительства.

Когда капиталистические государства, убедившись в полной неудаче интервенции, пригласили советское правительство принять участие на конференции в Генуе, Маяковский выступил в «Известиях» со стихотворением «Моя речь на Генуэзской конференции», в котором напоминал о неисчислимых страданиях и жертвах, принесенных русским народом в борьбе с Врангелем, с английскими и французскими интервентами:

Долги наши,
каждый медный грош,
считают «Матэны»,
считают «Таймсы».
Считаться хотите?
Давайте!
Что ж!
Посчитаемся!
О вздернутых Врангелем,
о расстрелянном,
о заколоте
память на каждой крымской горе.
Какими пудами
какого золота

оплатите это, господин Пуанкаре?
О вашем Колчаке — Урал спросите!
Зверством — аж горы вгонялись в дрожь.
Каким золотом —
хватит ли в Сити?! —
оплатите это, господин Ллойд-Джордж?

Тему советской родины Маяковский вынашивает как кровную тему всего своего творчества: в законченной в октябре 1924 года поэме «Владимир Ильич Ленин» Ленин предстает как гениальный вождь и человек, в биографии которого воплотилась история борьбы русского народа за освобождение своей родины, история большевистской партии:

Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.

В этом произведении, которое явилось одной из вершин социалистического реализма в советской поэзии, Маяковский с огромной силой выразил то, что еще не было для него ясно в «150 000 000», — единство вождя и масс. Показывая рост пролетариата на заре рабочего движения, поэт писал:

Бился
об Ленина
темный класс,
тёк
от него
в просветленьи,
и, обданный
силой
и мыслями масс,
с классом
рос
Ленин.

В поэме о Ленине Маяковский создал непревзойденный образ вождя, как обобщения народных чаяний и воли трудящихся к борьбе за лучшее будущее. С любовью открывает Маяковский в образе Ленина обаятельные человеческие черты, которые делают вождя близким и родным каждому человеку, простым и понятным и как бы показывающим каждому его собственные возможности в их полном развитии и осуществлении. Трудно назвать другое поэтическое произведение, в котором идеи

марксизма о взаимоотношениях массы и личности нашли бы столь вдохновенное воплощение.

С гордостью говоря о Ленине который «видел то, что временем закрыто», поэт в то же время называет его «самым земным из всех прошедших по земле людей». Образ истории, матери революционного движения, раскрывает в поэме Маяковского значение Ленина, гения революции, в его единстве с партией:

Партия и Ленин —
 близнецы братья, —
 кто более матери истории ценен?
 Мы говорим — Ленин,
 подразумеваем — партия,
 мы говорим — партия,
 подразумеваем — Ленин.

Гордость советского патриота за свой народ, за свою страну, давшую миру Ленина, звучит и в поэме «Хорошо!» Маяковский называл поэму «Хорошо!», написанную к десятилетию Октября, своим программным произведением. Оглядываясь на победоносный путь нашего народа и государства, полный лишений и трудностей, Маяковский утверждал в ней с непревзойденной поэтической силой идею советского патриотизма. Первоначально поэма называлась «Октябрь». Название «Хорошо!» возникло в ходе создания поэмы и прозвучало несколько неожиданно для юбилейного исторического произведения. Это название выражало прежде всего личное отношение поэта к тому, что произошло в жизни родной страны, выражало восхищение, лирическую взволнованность человека, осознавшего себя счастливым. Раскрывая, по своему обыкновению, тему во вступлении, Маяковский с первых же строк подчеркивает слияние общественного и личного в истории «моей революции, моей республики»:

Это время гудит телеграфной струной,
 это сердце с правдой вдвоем.
 Это было с бойцами или страной,
 или в сердце было в моем.

В поэме «Хорошо!» Маяковский продолжил патриотическую традицию передовой русской литературы. Но если у великих русских поэтов прошлого чувство любви к родине не могло не вызывать страстного протеста против уродливого общественного строя, против гнета царизма и крепостничества, против капитализма, то впервые у великого советского поэта священное чувство любви к родине не было ничем омрачено. В поэме читаем мы строки, полные страстной любви к родной советской земле:

Я
много
в теплых странах плутал,
но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей.
дружб
и семей.
Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся,—
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

Воздавая хвалу Советской республике к десятилетию ее существования, поэт заглядывает далеко вперед:

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть

в сплошной
 лихорадке
 буден.
Отечество
 славлю,
 которое есть,
но трижды —
 которое будет.

Любовь советского патриота к родине в поэзии Маяковского — гордая, разделенная любовь. «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»

Маяковский славит свое отечество, великую партию большевиков, которая ведет нашу родину к высотам коммунизма. С этих позиций Маяковский и взглянул на Америку, когда он очутился там в 1925 году, в одну из своих заграничных лекционных поездок. Поэтому его не только не раздавили «небоскребы», но, напротив, своим взглядом большевика поэт сумел увидеть «небоскреб в разрезе» и показать в нем «совсем дооктябрьский Елец аль Конотоп».

Подлинный реалист, стоявший обеими ногами на почве советской действительности и не нуждавшийся в ее «приподнимании», он ясно видел блестящее индустриальное будущее своей социалистической родины и столь же ясно за «блестящим» фасадом американского капитализма различал его загнивание, его бесславный конец.

В своих стихах и очерках поэт рисует не только Америку небоскребов и трестовских воротил, но и ту Америку, где «в 15 минутах ходу, в 5 минутах езды от блестящей 5-й Авеню и Бродвея... стоят ящики со всевозможными отбросами, из которых нищие выбирают не совсем объединенные кости и куски...»

«Мое открытие Америки» — так назвал поэт со свойственным ему глубоким юмором свои очерки, в которых он разоблачал лживую болтовню буржуазии о свободе печати, продажность, ханжество морали господ капиталистов.

«Газеты созданы трестами; тресты, воротилы трестов запродались рекламодателям, владельцам универсальных магазинов. Газеты в целом проданы так прочно и дорого, что американская пресса считается неподкупной. Нет денег, которые могли бы перекупить уже запроданного журналиста».

На каждом шагу поэт сталкивается в американской жизни с поруганным достоинством человека. Особенно его негодование вызвало положение женщины в буржуазном обществе. Об этом он писал в одном из самых скорбных своих стихотворений о негритянке-матери, продающей себя подгнившему мистеру Свифту. Это чувство породило и заме-

чательный цикл лирических стихов. Контраст с родной землей, где женщина давно уже стала равноправным членом социалистического общества, товарищем мужчины в труде и семье, помог поэту создать проникновенный женский образ в стихотворении «Парижанка». В противовес тому приукрашенному представлению об элегантной парижанке, которое стало привычным в буржуазной литературе, Маяковский рисует скромную женщину, изнуренную тяжелым и унижительным трудом: «...очень трудно в Париже женщине, если женщина не продается, а служит».

Стихи Маяковского, клеймящие американских трестовских ворилок-человеконенавистников, организаторов новой мировой бойни, хорошо запомнились им. Недаром не так давно американский правитель Западной Германии генерал Клей, сынок знаменитого «сигарного короля» Энри Клея — циничного колонизатора и насильника, выведенного в стихах Маяковского, — потребовал запрещения издания на немецком языке книг Маяковского.

Маяковский чувствовал себя слитым с той громадной созидательной работой, которую развернула уже в те годы Советская страна. Его стихи посвящены труду, пятилетке, ударным бригадам, Кузнечкострою и людям Кузнечка. В стихотворении «Американцы удивляются» Маяковский с большой сатирической силой противопоставляет два мира — капитализма и социализма — в их отношении к труду:

Мистеры,
у вас
практикуется исстари
деньгой
окупать
строительный норов.
Вы
не поймете,
пухлые мистеры,
корни
рвения
наших коммунаров.
Буржуи,
дивитесь
коммунистическому берегу —
на работе,
в аэроплане,
в вагоне
вашу
быстроногую
знаменитую Америку
мы
и догоним
и перегоним.

Его восхищали наши планы, «размаха шаги саженьи». Его мечты реалиста хватали далеко. Он видел родную землю, превращенную в прекрасный сад, защищенную от суховеев:

...где пыль
вздыхалась,
ветрами дуема,
сахары охрились, жаром ления,—
росли
из земного
из каждого дюйма
строения и зеления.

Маяковский как бы предвосхищал еще больший размах наших дел, сказавшийся в грандиозном строительстве, которое развернулось теперь по всей советской земле.

Вполне закономерно глубочайший патриотизм поэзии Маяковского утверждает волю советских людей к миру и воспринимается сегодня как обвинительный акт против поджигателей новой войны.

Нужно ли говорить, как ненавистен был Маяковскому дух низкопоклонства перед буржуазной культурой, как он стремился, говоря словами бессмертной комедии Грибоедова, истребить «нечистый этот дух пустого, рабского, слепого подражания».

«Собственная гордость» советских людей заставила Маяковского в стихотворении «Нашему юношеству» убийственно высмеять «жалкую тоскоту по стороне чужой», особенно противоестественную в условиях советского строя:

Когда ж переходят
к научной теме,
им
рамки русского
узки:
с Тифлисской
Казанская академия
переписывается по-французски...
...нам ли,
шагавшим в огне и воде
годами,
борьбой прожженными,
растить
на смену себе
бульвардые
французистыми пижонами!

Безупречный в своем уважении ко всякому народу и его языку, Маяковский восславил в этом стихотворении русский язык, ставший в советскую эпоху языком мира:

Да будь я
и негром преклонных годов,
и то
без унынья и лени
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.

Живое чувство советской национальной гордости выражено в этих словах. Со свойственной ему замечательной широтой кругозора и огромной любовью к своему, родному Маяковский советует нашей молодежи смотреть на жизнь «без очков и шор», брать все, «что у вашей земли хорошо и что хорошо на Западе», потому что «собственная гордость» советских людей чужда всякой национальной ограниченности.

Широта, цельность, человечность поэзии Маяковского отражали превосходство людей нового мира, людей-товарищей, над тем миром, где человек человеку волк.

В числе больших вопросов, которые поэт ставил в своих стихах, был и «Весенний вопрос». Прекрасно он сказал о красоте Терека, посочувствовал тем, «которые не бывали в Евпатории», в ведающей шутке — «Разговор на Одесском рейде десантных судов...» — рассказывал любовную драму. Тема любви. Он называл себя «эпизодом» этой темы. «Я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви».

Маяковский боролся против индивидуалистической лирики, в которой поэт переставал быть эхом мира и становился, по выражению Горького, «няней своей души». Лирика Маяковского — мужественная, хотя иногда и горькая, застенчивая, не дающая забыть, что есть дела поважнее, чем личные горести. И поэтому в лирике Маяковского так часто слышна ирония сатирика.

Маяковский много ездит по городам Советской страны и, наблюдая происходящие в ней великие изменения, восхищается размахом социалистической стройки. Он выступает с чтением своих стихов в переполненных аудиториях клубов, в институтах, в красноармейских казармах и заводских цехах. В среднем в год его слушало свыше шестидесяти тысяч человек. Около двадцати тысяч записок с вопросами получил он во время своих выступлений. Он хотел побывать в самых отдаленных местах Союза — в Сибири, на Дальнем Востоке, в Среднеазиатских республиках, называя свой план «пятилеткой поездок». Сначала города, потом деревня. Рассматривая карту Союза, он с особым интересом намечал для своих поездок такие пункты, где не было еще в то время ни водных, ни железнодорожных путей. В поездках

зии эти чувства и мысли, Маяковский как бы опережал время и в этом видел задачу художника — «тащить понятое время».

Защитникам родной земли — бойцам Красной Армии — Маяковский посвятил многие свои вдохновенные стихи. При жизни Маяковского фашизм еще только готовил силы для захвата власти в Германии. Но острым политическим чутьем большого поэта Маяковский чувствовал, какую опасность для нашей страны и для всего человечества представляет рвущаяся к власти фашистская банда.

В ответ
на разгул
фашистской злобы
тверже стой
на посту,
нога!
Смотри напряженно!
Смотри в оба!
Глаз на врага!
Рука на наган!

Поэзия Маяковского — это поэзия советских людей, вооруженной рукой отстанвающих новое, социалистическое общество. В ее новаторском дерзании выразился русский революционный размах. Поэзия Маяковского особенно созвучна тому, чему всегда учила нас партия и что особенно сильно сказалось в Великую Отечественную войну на фронте и в тылу — воспитанию инициативы, находчивости, дерзанию. В дневниках Зои Космодемьянской среди других литературных выписок есть слова Маяковского:

«Быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь».

Вот образ нашего человека, возникающий в поэзии Маяковского, который поразил воображение юной Зои.

Бторгаясь в жизнь, борясь за то, чтобы приблизить будущее, Маяковский выработал свой художественный метод, о котором он говорил:

И мы реалисты,
но не на подножном
корму,
не с мордой, упершейся вниз,—
мы в новом,
грядущем быту,
помноженном
на электричество
и коммунизм.

Творчество Маяковского в своем развитии после Октября утвердило с наибольшей силой метод социалистического реализма в поэзии, метод, сущность которого состоит в том, что писатель-художник правдиво изображает действительность в ее революционном развитии.

II

Маяковский ясно понимал свое место в советской поэзии, свои задачи как поэта социалистического общества. Правильно понимал он и то, что новые формы государственности, производства, быта, общественной и личной морали, порожденные Великой Октябрьской социалистической революцией, диктуют его поэзии новые задачи, новые идеи и образы. Эти новые задачи ему удалось так блистательно решить не только потому, что он твердо стоял на почве реальной действительности и был кровно связан с народом, но и потому, что он опирался на великий опыт русской литературы.

Нить преемственности с передовой русской литературой можно проследить, например, в его решении вопроса о назначении поэта в наши дни. К этой теме Маяковский возвращался неоднократно. Уже в первые дни после Октября Маяковский ставит вопрос о «месте поэта в рабочем строю». Его знаменитые «приказы» по армии искусств с их пафосом новаторства были продолжением традиционной русской темы поэта и гражданина, особенно в ее некрасовском выражении. Вспомним стихотворение Некрасова «Поэт и гражданин». Слово не должно расходиться с делом, слово должно прямо переходить в дело — вот в чем пафос этого некрасовского стихотворения:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убеждение, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

Есть вещи, о которых стыдно писать «в годину горя»: ласка милой, краса долин, небес и моря. Недостойно в такое время молчать гражданину, а тем более поэту.

Маяковский усовещивал поэтов, сторонников «чистого искусства»:

Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,

и на прочие мерехлюндии
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что — «Ах, вот беденький!»
Как он любил
и каким он был несчастным...?»
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.
Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»

Маяковский вовсе не думал отрицать проповеднической, то есть идейно-воспитательной задачи поэта. Напротив. В другом стихотворении, написанном раньше, он говорил: «...труд поэтов — почтенный паче — людей живых ловить, а не рыб». И если он противопоставлял в данном случае мастеров проповедникам, то только одной их породе — «длинноволосым». Именно «длинноволосый» витийствовал в блоковских «Двенадцати»:

А это кто? Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития...

В этом же «Приказе по армии искусств» от Маяковского попало и эстетам, «запутавшимся в паутине рифм». Поэтов-мастеров Маяковский противопоставлял эстетам. Никогда в русской литературе тема мастерства не имела такого звучания, какое она получила у Маяковского. Это было обусловлено тем, что новый класс должен был выдвинуть своих мастеров культуры.

Народный слуга — вот кто такой поэт, по мысли Маяковского. Нет бремени, которого Маяковский не взвалил бы на плечи «любимца муз». А для того чтобы поднять это бремя, он должен быть мастером. Великую идею вкладывает Маяковский в понятие мастерства: требовательность художника к самому себе не знает пределов.

«Труд мой любому труду родствен», — говорит у Маяковского поэт в «Разговоре с фининспектором о поэзии» и вместе с тем создает гимн мастерству, который мог возникнуть только в советскую эпоху, когда всякое достижение мастерства в любой области

пронизано коммунистической идейностью. Но все-таки поэзия — не «любой труд»:

Приходит
страшнейшая из амортизаций —
амортизация
сердца и души.

Не корысть и не карьера, а идея социализма, борьба за счастье трудящихся заставляют поэта стать мастером:

Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь,
единого слова ради,
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.

Маяковский хотел вооружить своим стихом рабочий класс в его великой борьбе. Он хотел «размножить бурей восстаний, дел и поэм» величественные события советской эпохи. Вот для чего требовалось мастерство. Он хотел, чтобы его поэзия была целиком связана с рабочим классом.

Взгляд на поэта эпохи социализма как на бойца, готового отдать свою жизнь за народ, выражен с огромной силой в последнем произведении Маяковского, которым явилось начало поэмы «Во весь голос». Очевидна для всякого перекличка Маяковского в этом произведении с пушкинским «Памятником». Это придает поэме Маяковского программное значение.

«Слово — полководец человеческой силы», — так определяет Маяковский задачу поэта. Поэт, «революцией мобилизованный и призванный», отдает «планеты пролетарию» свои стихи — «все поверх зубов вооруженные войска». Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами — вот мысль, которая лежит в основе отношения Маяковского к слову как к оружию.

За что же поэту должен быть воздвигнут памятник? Ответ Пушкина бесконечно близок нашей эпохе: за то, «что в мой жестокий век восславил я Свободу». Или еще яснее в черновом варианте: «Вослед Радищеву восславил я Свободу». Этот завет гражданского служения поэта свято чтит и Маяковский. «Велели нам идти под красный флаг года труда и дни недоеданий». Маяковский заявляет о своем равнодушии к личной славе. Он выдвигает на первый план не себя — автора замечательных стихов, а ту высокую цель, ради которой они были созданы.

Пускай нам
 общим памятником будет
построенный
 в боях
 социализм —

вот девиз его поэзии, который стал уже творческим девизом героического труда и борьбы всех советских людей.

«Хай нам загальним пам'ятником буде збудований в боях соціалізм» — гласит надпись на братской могиле в Полтаве двадцати семи красноармейцев и красных партизан, погибших в годы гражданской войны. Величайшим утверждением идейности, героического самопожертвования во имя советской отчизны проникнут образ поэта во вступлении к поэме «Во весь голос».

Наследник традиций Пушкина, Некрасова, всей передовой русской литературы, Маяковский-новатор приумножил это наследие поэтическим изображением нашей советской эпохи. Ведь традиции — это не «повторение пройденного», а критическое усвоение наследия и развитие нового на новой исторической основе. Именно поэтому Маяковский и смог стать великим новатором. Его творчество утверждает неиссякаемую оригинальность русского искусства. В новаторстве Маяковского сказывается идейно-художественная преемственность советского поэта, продолжающего традиции великой русской литературы.

III

Широко известно замечательное высказывание М. И. Калинина, в котором, характеризуя Маяковского как великого поэта-патриота, он подчеркивает единство содержания и формы его поэзии:

«Мне кажется, великолепным образцом служения советскому народу является Маяковский. Он считал себя бойцом революции и был таковым по существу своего творчества. Он стремился слить с революционным народом не только содержание, но и форму своих произведений, так что будущие историки наверняка скажут, что его произведе-

ния принадлежали великой эпохе ломки человеческих отношений. Поэтому я считаю, что Маяковский имел право, обращаясь к будущим поколениям, сказать:

Я к вам приду
 в коммунистическое далеко
не так,
 как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
 через хребты веков
и через головы
 поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
 но он дойдет не так,—
не как стрела
 в амурно-лировой охоте,
не как доходит
 к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих
 трудом
 громаду лет прорвет
и явится
 весомо,
 грубо,
 зримо,
как в наши дни
 вошел водопровод,
сработанный
 еще рабами Рима.

В этом гордом заявлении мы слышим величественный голос нашей эпохи, наших поколений, преобразующих мир на новых началах.

Для наиболее полного выражения революционного содержания Маяковский должен был создать свою художественную форму, обновить изобразительные средства, развернуть и умножить ритмическое богатство русской поэзии. С помощью этих новых поэтических средств великие исторические события и переживания миллионов людей нашли свое полноценное художественное выражение в его политической лирике и поэмах «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!».

Необходимо, однако, помнить, что Маяковский не сразу пришел в своем творчестве к тому слиянию с революционным народом не только содержания, но и формы своих произведений, о котором говорил М. И. Калинин. Стремясь приблизить язык поэзии к языку народа, Маяковский вел борьбу с буржуазными поэтами-декадентами, которые еще в 1921 году открыто пытались навязать молодой советской поэзии свои эстетические «нормы». В этой борьбе Маяковский утверждал

в своей поэзии метод социалистического реализма. Большое значение поэт придавал языку своих произведений. Некоторые особенности языка Маяковского предстают в своем истинном значении как развитие национальных традиций, завещанных русской поэзии Пушкиным.

Известно то место, которое в учении И. В. Сталина о языке отведено языку Пушкина. Указывая, что язык, собственно его словарный состав, находится в состоянии почти непрерывного изменения, И. В. Сталин устанавливает, что структура пушкинского языка с его грамматическим строем и основным словарным фондом сохранилась во всем существенном, составляя основу современного русского языка.

Как же представлял себе сам Пушкин развитие языка поэзии, и в чем был смысл его собственной творческой эволюции в этой области? Эволюция литературных взглядов Пушкина вела его к реализму, к пониманию «прелести нагой простоты».

В одном из своих писем к А. А. Бестужеву Пушкин писал, что он не разрешит печатать «Братьев-разбойников», если цензура не пропустит «простонародные» выражения. С горечью шутил поэт в другом письме к Бестужеву по поводу отрывка из той же поэмы: «...если отечественные звуки — харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц Пол(ярной) Зв(езды), то напечатай его».

Характерно высказывание Пушкина о языке поэзии в то время, когда он приступал к «Евгению Онегину». «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и фр(анцузской) утонченности. Грубость и простота более ему пристали», — писал он в ноябре 1823 года в письме к Вяземскому.

Какой смысл вкладывал здесь Пушкин в слово «грубость»? Он ориентировал развитие литературного языка на разговорный язык простого народа, приводя в пример Альфиери, изучавшего итальянский язык на флорентинском базаре. Достоинство языка русского народа в противовес жаргону русской аристократии Пушкин считал проистекающим оттого, что народ «слава богу» не выражает «своих мыслей на французском языке».

А в чем состоит особенность жаргона русской аристократии? И. В. Сталин говорит о таких жаргонах: «У них есть: набор некоторых специфических слов, отражающих специфические вкусы аристократии или верхних слоёв буржуазии; некоторое количество выражений и оборотов речи, отличающихся изысканностью, галантностью и свободных от «грубых» выражений и оборотов национального языка; наконец, некоторое количество иностранных слов».

Итак, «грубость» русского языка, которую отстаивал Пушкин против жаргона русской аристократии, — это утверждение норм и традиций национального языка.

По всему смыслу эстетического кодекса Маяковского, «грубость» его языка должна быть осмыслена в этой перспективе.

Ссылаясь на статью Ленина «О характере наших газет», Маяковский резко критиковал поэтов, перегружающих свои стихи «иностранщиной»: «Иностранщина из учебников, безобразная безобразность до сих пор портит язык, которым пишем мы. А в это время поэты и писатели, вместо того чтобы руководить языком, забрались в такие заоблачные выси, что их и за хвост не вытащишь. Открываешь какой-нибудь журнал — сплошь испещрен стихами: тут и «жемчужные зубки», и «хитоны», и «Парфенон», и «грезы», и черт его знает, чего тут только нет. Надо бы попросить господ поэтов слезть с неба на землю».

Стремясь к утверждению национального языка, Пушкин при своем появлении на поэтическом поприще смог оценить, по слову Белинского, страшную силу «чудовища-привычки». «За исключением Державина, поэтической натуре которого никакой предмет не казался низким, из поэтов прежнего времени никто не решился бы говорить в стихах о пивной кружке... в стихах тогда говорилось не о кружках, а о фиалах, не о пиве, а об амброзии и других благородных, но не существующих на белом свете напитках... Теперь смешно читать, — говорит великий критик, — нападки тогдашних аристархов на Пушкина — так они мелки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русского языка и здравого вкуса, а Пушкина — искажителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусица...»

Белинский восхищался в Пушкине гениальной способностью, с какой великий «поэт действительности» делал поэтическими самые прозаические предметы. Но ведь именно эта особенность отличала поэзию Маяковского в эпоху Великой Октябрьской социалистической революции, когда новая, беспрецедентная действительность, созданная победой рабочего класса, нашла в Маяковском своего поэта.

Разве не естественно, что в той перспективе утверждения в поэзии разговорного языка и реального словаря народа, которая была намечена еще Пушкиным — «поэтом действительности», Маяковский и обратился на новом историческом этапе к «странному просторечию, сначала презренному», каким был весь тот «говор миллионов», который «революция выбросила на улицу».

Он иронизировал над представителями «чистого искусства»: «...поэт Фет сорок шесть раз упомянул в своих стихах слово «конь» и ни разу не заметил, что вокруг него бегают и лошади.

Конь изысканно, лошадь буднично.

Количество слов «поэтических» ничтожно. «Соловей» можно — «форсунка» нельзя.

Разве не близки эти замечания Маяковского рассуждениям Велинского о «пивной кружке», «фиале» и «амброзии» в его статьях о Пушкине? Разве не та же самая тенденция к утверждению в языке поэзии реализма и народности проявляется в этих высказываниях, несмотря на качественно новое социальное содержание поэзии Маяковского по сравнению с поэзией Пушкина? Гоголь писал о Пушкине: «В нем, как будто в лексиконе, заключалось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул границы и более показал все его пространство...»

В лучших своих произведениях, освоивших и сделавших поэтическим «грубый» разговорный язык народа, строящего в жестокой классовой борьбе новую жизнь, Маяковский продолжил дело Пушкина, осваивая в русском языке, по выражению Гоголя, «все его пространство». «Народ — языковорец» услышал в поэзии Маяковского новые слова, которые не сразу были всеми приняты, но образованы были в органическом соответствии с духом и законами русского языка.

Новые слова возникали в поэзии Маяковского в ответ на потребности жизни, из осознанного стремления повысить смысловую действенность поэтической речи. Вот пример, каких можно привести множество. В общезвестных «Стихах о советском паспорте» поэт говорит:

С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.

«Молоткастый», «серпастый» — этих слов, образованных по типу горл-астый, зуб-астый, рук-астый, язык-астый, глаз-астый и т. д., нет в словарях. Но они живо передают силу того, что защищает гордого обладателя советского паспорта, — силу и величие государственного герба Советского Союза.

Эти новые слова, созданные Маяковским в новую историческую эпоху, утверждают национальные традиции в развитии языка, преуказанные Пушкиным. Всем известна строфа из «Хорошо!»:

Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженья.

Я радуюсь
 маршу,
 которым идем
в работу
 и в сраженья.

Не правы некоторые критики, считающие неудачным неологизм «громадьё». Собирательное «громадьё» образовано Маяковским по типу — мальё (мелкие предметы, ср. поговорку — «Корьё не мальё, а дуба не стало»); колотьё, суровьё и т. п. Небывалый, беспримерный масштаб наших дел, их громадность потребовали и нового собирательного, обобщившего и во много раз усилившего значение слова. Богатство литературного языка создается не только включением в его живой строй слов из не освоенного еще нами «запаса» великой русской литературы и разговорной речи народа, но и творчеством новых слов, в котором нельзя не учитывать роли поэта. Художественная практика Маяковского в этом смысле показательна. Богатство языка обусловлено тем, что основной словарный фонд, как говорит И. В. Сталин, «дает языку базу для образования новых слов. Словарный состав отражает картину состояния языка: чем богаче и разностороннее словарный состав, тем богаче и развитее язык».

Есть у Маяковского и неудачные словообразования. Они встречаются иногда и в лучших его произведениях. Например, в замечательном «Левом марше» есть такая строфа:

Пусть бандой окружат нянятой,
стальной изливаются леевой,—
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Неологизм «леева», повидимому от глагола «лить», не раскрывается в своей смысловой значимости, до корня его не сразу доберешься. У Маяковского были свои неудачи в поисках новых средств выразительности. Но стоит лишь правильно осмыслить их в истории становления нашей советской поэзии, чтобы понять исключительное значение того вклада в развитие национальной формы, которым великий русский поэт советской эпохи обогатил отечественную литературу.

«Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка», — говорил Пушкин. Творческий опыт Маяковского подтверждает: не нужно заглушать в нашем словесном искусстве стремление к созданию новых изобразительных средств, отвечающих беспримерному идейному содержанию великой советской эпохи, к раскрытию новых оттен-

ков в значении слов, к созданию новых слов сообразно с законами развития родного языка.

Недаром А. М. Горький, оценивая подготовленный в Академии наук словарь русского литературного языка, указывал в письме к О. Ю. Шмидту как на существенный недостаток, что в словаре нет «...Маяковского, Д. Бедного — людей весьма чутких к затейливой игре языка, «словотворцев».

В период работы над поэмой о Ленине Маяковский призывал учиться у Пушкина «максимально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли». И, однакоже, учась у Пушкина, Маяковский создал произведение гениально-самобытное и по содержанию и по форме, представляющее шаг вперед в развитии русской поэзии.

Выразительность языка Маяковского сыграла важную роль в воплощении его идейного замысла.

В непосредственной связи с языком нужно рассматривать и особенности стиха Маяковского.

Для Маяковского поэтическое слово было действием. Поэт делал упор на «слышимое слово, слышимую поэзию», указывая, что: «Рукопись — только начало книги. Трибуну, эстраду — продолжит, расширит радио. Радио — вот дальнейшее... продвижение слова, лозунга, поэзии... Счастье небольшого кружка слушавших Пушкина сегодня привалило всему миру».

Своеобразие стиха Маяковского отчасти характеризуется тем, что, как говорит поэт, «в каждом стихе сотни тончайших ритмических, размерных и других *действующих* особенностей, никем, кроме самого мастера, и ничем, кроме голоса, не передаваемых».

Конечно, из этого вовсе не надо делать вывода, что стихи Маяковского нужно обязательно слушать и нельзя читать про себя. Это совершенно неправильно. Однако, для того чтобы до конца воспринять всю их красоту и выразительность, нужно не только прочесть их глазами, но суметь их внутренне услышать.

Такие особенности стиха, как ритм и рифма, подчеркивают гораздо большую звуковую упорядоченность в поэзии словесного материала по сравнению с прозой. Стихи в гораздо большей степени, чем проза, рассчитаны на то, что их будут произносить, читать вслух. Стих Маяковского приобретает своеобразное качество, раскрывая эти возможности и особенности поэзии по сравнению с прозой. Рифма Маяковского отличается необычайной широтой созвучия и неожиданностью. Поэт придавал большое значение рифме как средству выражения и усиления смысла стиха: «...без рифмы (понимая рифму широко) стих рассыплется.

Рифма возвращает вас к предыдущей строке, заставляет вспомнить ее, заставляет все строки, оформляющие одну мысль, держаться вместе».

Поскольку Маяковский делал упор на «слышимое слово, слышимую поэзию», то и роль рифмы для него необычайно вырастала: «...я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало...»

Это обуславливало необычность рифмовки Маяковского: как правило, поэт избегал рифмовать слова одинаковых грамматических категорий. Неожиданность рифмы заставляет острее воспринимать смысл строки, возвращая память к той, с которой рифмуется.

Все свои поэтические средства Маяковский подчинял воплощению идейного замысла и был ярым врагом всякой, хотя бы и новой, догмы. При всем своем внимании к рифме Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин» оставил незарифмованными несколько строк в знаменитом лирическом отступлении о партии:

Партия —
 спинной хребет рабочего класса.
Партия —
 бессмертие нашего дела.
Партия — единственное,
 что мне не изменит.

Дальше вновь вступает в свои права могучая рифма Маяковского. Однако перерыв в рифмовке как бы выделяет курсивом смысл данных строк *.

Несмотря на всю мощь рифмы Маяковского, главным фактором, определяющим своеобразие его стиха, является ритмика. «Ритм — это основная сила, основная энергия стиха», — говорил сам поэт. И действительно, в его стихах поражает исключительное богатство ритмов, многообразие их в пределах каждого произведения, чрезвычайно гибкий переход от одного размера к другому в рамках даже одной строфы. При этом нельзя не осознать трудность определения конкретного размера в строфе Маяковского, если базироваться на традиционных определениях — ямб, хорей, дактиль и т. д., хотя эти размеры возникают постоянно в строках Маяковского.

Практически в своем стихе он продолжал, развивал элементы стиха своих великих предшественников, но так, что, включенные в

* В статье «Как делать стихи» Маяковский ссылается на работы формалистов, думая этим подкрепить свои положения. Поэт ошибался. Его статья, раскрывая самый процесс того, как идея определяла собой форму, поэтические средства, воинствующе заострена против формализма.

Богатство ритмов в стихах Маяковского обусловлено богатством содержания, смена одного размера другим глубоко закономерна. Соседствующие разные ритмы, контрастируя друг с другом, заставляя резко ощущать смысл одной темы в соотношении с другой, играют роль одного из тех изобразительных средств, которые помогали Маяковскому добиваться исключительной экономии, сжатости выражения.

Поразителен в ритмическом отношении эпизод взятия Зимнего дворца. Вполне понятно, какую политическую нагрузку несет этот эпизод, воплощая идею перехода власти в руки рабочего класса, идею конца российского капитализма и начала новой, социалистической эры. Открывающая эпизод строфа подчеркивает обычность городского пейзажа в момент подготовки и свершения величайшего исторического события:

Величайшего исторического со-
б-
р-
ветрами,
лизме,
и трамы,
В - Макаровский
од артел
"ЗЕЛЕНЕ ПОЛЕ"
Аммильского района
Свердловской области
19

ИМЯ — В ЭТОМ КАЛАМБУР-

31

Частушечно-короткую веселую строфу, с которой входит в поэму голос самой революционной улицы, сменяет длинная патетико-ироническая, с гневной характеристикой самовлюбленного болтуна Керенского:

В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший.—
«В рог,
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!..»

И после еще одной веселой песенной строфы, в которой действуют кексгольмцы, окружающие Зимний, следуют величественные, торжественные строки, в которых появляется человек, держащий в своих руках все нити исторических событий:

А в Смольном,
в думах
о битве и войске,
Ильич
гримированный
мечет шажки...

Ритмическое многообразие этих первых пяти строф во взаимодействии с замечательной выразительностью языка и образностью помогло поэту сжато передать огромное историческое содержание.

Говоря о роли ритмического рисунка, необходимо подчеркнуть, что ритм у поэта вытекает из содержания, что он рождается вместе с содержанием, а не «накидывается» на него. Маяковский вовсе не стремится менять размеры без надобности, предостерегая и в этой области от «постоянного изречения небывалых истин». На протяжении больших кусков его поэм и в отдельных стихотворениях действуют устойчивые размеры, в особенности там, где нет перемен места и времени.

В поэме «Хорошо!» многообразие ритмов задано огромностью исторических событий и переживаний людей в масштабе целой страны и эпохи. Ритмическое богатство, которым владел Маяковский, во взаимодействии со всей суммой изобразительных средств языка и позволило поэту организовать этот огромный материал на сравнительно небольшой «площадке» — около полутора тысяч строк.

«Большинство моих вещей построено на разговорной интонации», — указывал Маяковский. Широко используя «простонародные» выражения, осваивая в русском языке «все его пространство», Маяковский сближал поэзию с жизнью, с живой народной речью. Было бы, однако, странно на этом основании упускать из виду особенности поэтического претворения разговорной речи в стихе Маяковского. «Как ввести разговорный язык в поэзию и как вывести поэзию из этих разговоров?» — так ставил вопрос сам поэт.

В эпизоде взятия Зимнего высшей точкой является строфа, рисующая картину, как врываются «бушлаты, шинели, тулупы» в комнату, куда забились тринадцать министров Временного правительства:

И в эту
 тишину
 раскатившийся всласть
бас,
 окрепший,
 над реями рея:
«Которые тут временные?»
 Слазы!
Кончилось ваше время».

Можно сказать, что поэт слился с «бушлатами, шинелями, тулупами», создавая этот гениальный каламбур, в котором выразилось торжество восставшего народа. Условное наименование *временного* правительства российской буржуазии реалистически раскрывается и обобщается здесь как метафора исторической обреченности капитализма. И еще реалистический штрих, «уплотняющий» картину: провозглашает эти слова матрос («бас, окрепший, над реями рея») — один из тех людей, чья передовая роль в Октябрьском восстании — факт исторический.

Слово «время», подлежащее рифмовке, характеризующее смысл всей строфы — «Кончилось ваше *время*», — это слово подготовлено рифмой, нарастающей во второй строке: «бас, окрепший, над *реями рея*». Смысл последней строки ритмически поднят тем, что она самая короткая в строфе, по слогам почти вдвое более короткая, чем первая строка, которая своей относительной длиной и создает ощущение баса, «раскатившегося всласть».

После строф, рисующих штурм Зимнего, поэт постепенно ослабляет напряжение, «тушит» краски и подводит к пейзажной концовке, почти повторяющей строфу, открывающую эту главу:

Дул,
 как всегда,
 октябрь
 ветрами.

Рельсы
 по мосту вымев,
 гонку
 свою
 продолжали трамы
 уже —
 при социализме.

Повторяя строфу вступительную, поэт сохраняет ее смысл — общности, обыденности фона, ни в чем не изменившегося после того, как совершилось величайшее историческое событие, но отказывается от иронического каламбура: вместо: «дули авто и трамы» — теперь читаем: «гонку свою продолжали трамы». Это на первый взгляд небольшое изменение придает строфе серьезность, диктуемую смыслом того, что произошло.

Все элементы стиха Маяковского, при сколько-нибудь вдумчивом подходе к нему, обнаруживают свою глубокую взаимосвязанность и закономерность. Важнейшую роль играет в его стихе установка на «слышимое слово». «Во весь голос» — подчеркнуто назвал поэт свое последнее произведение.

Можно сказать, что глубина мысли и чувства поэзии Маяковского воплощена в исключительно богатой художественной форме его стиха, в частности в изумительной ритмике.

Повышенная действенность слова в стихе рождает у поэта сравнение стихов с войском:

Парадом развернув
 моих страниц войска,
 я прохожу
 по строчечному фронту.

Великий поэт — трибун эпохи социализма, был великим мастером стиха. Вот почему поэтическое слово в его руках было подлинным «полководцем человеческой силы». Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, — сказал Иосиф Виссарионович Сталин.

Изображая действительность в ее революционном развитии, Маяковский как бы смотрел из будущего на настоящее. Это давало ему возможность угадывать направление развития действительности — типизировать явления жизни. Маяковский в полной мере владел этой важнейшей особенностью реалистического мастерства. Он широко прибегал к сознательному преувеличению, заострению образа, стремясь выразить сущность данного социального явления. Для него искусство — «не отображающее зеркало, а — увеличивающее стекло». «Увеличивая» положительное и отрицательное в нашей жизни средствами свое-

го искусства, с исключительной силой выявляя типическое, Маяковский тем самым вторгался в жизнь, поддерживая ростки нового, выкорчевывая враждебное и обветшалое, что задерживало наше движение вперед, к коммунизму.

Величие поэтического подвига Маяковского состоит в том, что, отдав « всю свою звонкую силу поэта » борьбе за коммунизм, он двинул вперед и развитие русской поэзии, сделал новый шаг в художественном развитии человечества.

Своим поэтическим словом Маяковский славит « радость жизни, веселье труднейшего марша в коммунизм », помогает партии воспитывать молодое поколение стойким, бодрым, не боящимся препятствий, идущим навстречу всем и всяческим трудностям и умеющим их преодолевать.

Образ Советской страны и ее людей, созданный Маяковским в его поэзии, покоряет громадной обобщающей силой утверждения своего, родного, советского:

...день наш
 тем и хорош, что труден.
Эта песня
 песней будет
наших бед,
 побед,
 буден.

Все творчество Маяковского и было такой великолепной песней, которая будет звучать всегда, потому что она зовет наших людей вперед, к творчеству, к подвигу во имя коммунизма.

В. Перцов



СТИХОТВОРЕНИЯ

1913—1930



СТИХОТВОРЕНИЯ

1913—1917

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.

А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают,
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевóчки
жемчужиной?

И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»

Послушайте!

Ведь, если звезды
зажигают,
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1913

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандалное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груды!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот, неизвестно зачем и откуда,
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,—
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандалных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

1915

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодарностью миноносью.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносью.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

1915

НАДОЕЛО

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.
За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.
Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
наз-зад,
н а з а д!»
Страх орет из сердца.
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.
Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.
Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицею розоватого теста:
хоть бы метка была, в уголочке вышита.
Только колышутся спадающие на плечи

мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»
Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало йначе:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.
Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?
Брошусь на землю,
каменя корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев
покрою
умную морду трамвая.
В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое, как мычание»?

для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.
Смешные!

С нищих —

что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я

бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Морган.

Через столько-то, столько-то лет
— словом, не выживу —

с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,

сегодняшнего рыжего,
профессора разучат до последних иот,
как,

когда,

где явлен.

Будет

с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.

Склонится толпа,
лебезяща,

суетна.

Даже не узнаете —
я не я:

облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.
Я — пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.
Слушайте ж:
все, чем владеет моя душа,
— а ее богатства пойдите смертьте ей!—
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громяхая по всем векам,
коленипреклоненных соберет мировое вече,—
все это — хотите?—
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.
Люди!
Пыля проспекты, топча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде
на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.
За человечье слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй,—
как же,
найдешь его!

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,
думает:
— «Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».
Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.
Прохожие устремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на змеин хвост.
Император,
лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвалась, криком сломана:
— «Жует!
Не знает, зачем они.
Деревня!»
Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.
И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.

1916

РЕВОЛЮЦИЯ

Поэтохроника

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разлился по блескам дул и лезвий
рассвет.
Рдел, багрян и дѣлог.
В промозглой казарме,
суровый,
трезвый,
молился Воынский полк.

Жестоким
солдатским богом божились
роты,
бились об пол головой многолобой.
Кровь разжигалась, висками жилясь.
Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,
приказавшему
— «Стрелять за голод!»—
заткнули пулей орущий рот.
Чье-то — «Смирно!»
Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградой.
Рассвет растет,
сомнением колет,
предчувствием страха и радуя.

Окну!
Вижу—
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.

Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
по сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,
вот она:
«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырывают!

Горе двуглавному!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.
Площади плещут.
На крохотном форде
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженных барж,
над баррикадами
плывет, громохая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.

Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.
Что будет?

Их ли из окон выломим,
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.

Еще!
О, еще!
О, ярче учи, краснаязыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавному!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.
Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда!—
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавному!
Шейщи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не бжил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! — впепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!»

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!
Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
поселянам Земли,
каждый Земли поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.

Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух — наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных
копий.

Чья злоба надвое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Или солнца
одного
на всех мало?
Или небо над нами мало голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серую,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громовое:
— Верую
величию сердца человеческого!—

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается было
социалистов великая ересь!

1917

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.

Услышит кадет — революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольший ветер,
в клочья шапочку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

1917

К ОТВЕТУ!

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля,
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человеческих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут там ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.

Во имя чего
сапог
землю растаптывает, скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь рост
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

1917

СТИХОТВОРЕНИЯ

1918—1920

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб.—

Ветром опита,
льдом обута
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течет по-своему...

Подошел и вижу —
за каплицей каплица
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска,
плеща, вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И всё ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

1918

ПОЭТ РАБОЧИЙ

Орут поэту:
«Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось работать — кишка тонка».
Может быть,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,
то, может,
мне
без труб труднее.
Знаю —
не любите праздных фраз вы.
Рубите дуб — работать дабы.
А мы
не деревообделочники разве?
Голов людских обдeldываем дубы.
Конечно,
почтенная вещь — рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!
Но труд поэтов — почтенный паче —
людей живых ловить, а не рыб.
Огромный труд — гореть над горном,
железа шипящие класть в закал.

Но кто же
в бездельи бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше — поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца — такие ж моторы.
Душа — такой же хитрый двигатель.
Мы равные.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молотом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов —
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.

1918

ЛЕВЫЙ МАРШ

(Матросам)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздывает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами горя
солнечный край непочатый.

За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нáнтятой,
стальной изливаются леевой,—
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

1918

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —
интеллигентская чушь!
Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?

Ноги без мозга — вздорны.
Без мозга
рукам нет дела.
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас
продавали на вырез,
военный вздымался вой, —
когда
над миром вырос
Ленин
огромной головой.
И зéмли
сели на ёси.
Каждый вопрос — прост.
И выявилось
два
в хаóсе
мира
во весь рост.

Один —
животище на животище.
Другой —
непреклонно скалистый —
влил в миллионы тыщи.
Встал
горой мускулистой.

Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем, кого мети!
Ноги знают,
чьими
трупами
им идти.

Нет места сомненьям и воям.
Долой улитье — «подождем»!
Руки знают,
кого им
крыть смертельным дождем.

Пожарами землю дымя,
езде,
где народ исплёнен,
взрывается
бомбой
имя:
Ленин!
Ленин!
Ленин!

И это —
не стихов вееру
обмахивать юбиляра уют.—
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

1920

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ,
БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ
ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева,
27 верст от Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбѣл
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце áло.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,

в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шлаться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармояд!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса;
ввалилось;
дух переведа,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:

«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему,—
skonфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась,—
и степенность
забыв,
сiju, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоюсь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорлим,
вспоем
у мира в сером хламе.

Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма,
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ

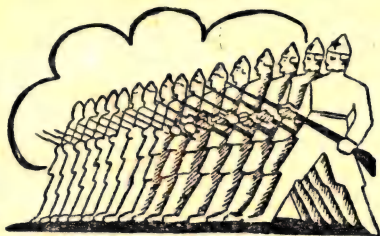
Молнию метнула глазами:
«Я видела —
с тобой другая.
Ты самый низкий,
ты подлый самый...» —
И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая.
Я ученый малый, милая,
громыханья оставьте ваши.
Если молния меня не убила —
то гром мне
ей-богу не страшен.

1920

СКАЗКА О ДЕЗЕРТИРЕ,
УСТРОИВШЕМСЯ НЕДУРНЕНЬКО,
И О ТОМ, КАКАЯ УЧАСТЬ ПОСТИГЛА
ЕГО САМОГО И СЕМЬЮ ШКУРНИКА

Хоть пока
 победила
 крестьянская рать,
хоть пока
 на границах мир,
но не время
 еще
 в землю штык втыкать,
красных армий
 ряды крепи!
Чтоб вовеки
 не смел
 никакой Керзон
братъ на-пушку,
 горланить ноты,—
даже землю паша,
 помни
 сабельный звон,
помни
 марш
 атакующей
 роты.
Молодцом
 на коня боевого влазь,
по земле
 пехотинься пеший.

С неба
 землю всю
 глазами оглазь,
на железного
 коршуна
 севши.
Мир пока,
 но на страже
 красных годов
стой
 на нашей
 красной вышке.



Будь смел.
 Будь умел.
 Будь
 всегда
 готов
первым
 ринуться
 в первой вспышке.
Кто
 из вас
 не крещен
 военным огнем,
кто считает,
 что шкурнику
 лучше?
Прочитай про это,
 подумай о нем,
вникни
 в этот сказочный случай.

Защищая
 рабоче-крестьянскую Русь,
 встали
 фронтами
 красноармейцы.
 Но — как в стаде
 овца паршивая —
 трус
 и меж их
 рядами
 имеется.



Жил
 в одном во полку
 Силеверст Рябой.
 Голова у Рябого —
 пробкова.
 Чуть пойдет
 наш полк
 против белых
 в бой,



а его
 и не видно,
 робкого.



Дело ясное:
 бьется рать,
 горяча,
против
 барско-буржуйского ига.
у Рябого ж
 слово одно:
 «Для ча
буду
 я
 на рожон прыгать?»



Встал стеною полк,
 фронт раскинул
 свой.
Силеверст
 стоит в карауле.



Подымает
пуля за пулей
вой.

Силеверст
испугался пули.



Дома
печь да щи. Замечтал
Силеверст.

Бабья
рожа
встала
из воздуха.



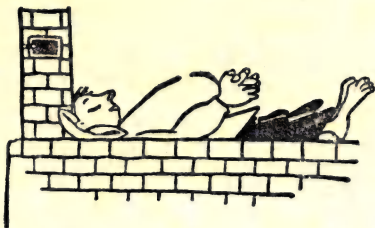


Да как дернет Рябой!
Чуть не тыщу верст
пробежал
без единого
роздыха.
Вот и холм,
а там
и дом за холмом,
будет
дома
в скором времечке.
Вот и холм пробежал,
вот плетень
и дом,
вот
жена его
лускает
семечки.
Прибежал,
пошел лобызаться
с женой,



чаю выдул —

стаканов до тыщи,



задремал,

заснул

и храпит,

как Ной,—

с ГПУ,

И ТО

не сыщешь.

А на фронте

враг

ВИДИТ:

полк с дырой,



враг

пролазит

щелью этою.

А за ним

и золотозады

рой

лезет в дырку,

блестит эполетою.

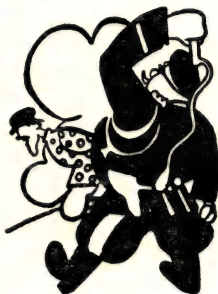


Поп,
урядник — сивуха
течет по усам,
с ним — петля
и прочие вещи.
Между ними — царь
самодержец сам.
За царем — кулак
да помещик.



Лезут,
в радости, аж не чуют ног,
где
и сколько занято мест ими?!
Пролетария
гнут в бараний рог,

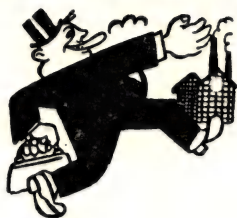
сыпят
 в спину крестьян
 манифестами.
 Отошла
 земля
 к живоглотам назад,
 наложили
 нало́жища
 тяжкие.



Лишь свистит
 в урядничьей ручке
 лоза —
 знай, высыпает
 и в спину
 и в ляжки.



Улизнувшие
 бары
 едут в дом.



Мчит буржуй.
Не видали три года, никак.
Снова
школьника
поп
обучает крестом —
уважать заставляет
угодников.



В то село пришли,
где храпел
Силеверст.
Видят —
выглядит
дом
аккуратненько.



Тычет
 в хату Рябого
 исправничий
 перст,
 посылает занять
 урядника.
 Дурню
 снится сон:
 де в раю живет
 и галушки
 лопает тыщами.



Вдруг
 как хватит
 его
 крокодил
 за живот!





То урядник
хватил сапожищами.
«Как ты смеешь спать,
такой-рассякой,
мать твою растак
да разэтак!
Я тебя запорю,
я тебя засеку
и повешу
тебя
напоследок!» —



«Барин!» —
взвыл Силеверст,
а его кнутом
хвать помещик
по сытой роже.

«Подавай
 и себя,
 и поля,
 и дом,
 и жену
 помещику
 тоже!»
 И пошел
 прошибать
 Силеверста
 пот,
 вновь
 припомнил
 барщины муку,



а жена его
 на дворе
 у господ
 грудью
 кормит
 барскую суку.



Сей истории
 прост
 и ясен сказ,—

посмотри,
как наказаны дурни.



Чтобы то же
не стряслось и у вас,
да не будет
меж вами

шкурник.

Нынче

сына

даем

не царям на зарез,—

за себя

этот ббище

начат.

Провожая

рекрутов

молодолес,

провожай поя,

а не плача.

Чтоб помещики

вновь

не взнуздали вас,

не в пример

Силеверсту бедняге,—

провожая

сынов,

давайте наказ:

будьте

верными

красной присяге.

1920—1923

ОКНА САТИРЫ РОСТА

ПРОШУ СЛОВА*

Это — не только стихи.

Эти иллюстрации не для графических украшений.

Это протокольная запись труднейшего трехлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов.

Это — моя часть огромнейшей агитработы окон сатиры
Роста.

Пусть вспоминают лирики стишки, под которые влюблялись. Мы рады вспомнить и строки, под которые Деникин бежал от Орла.

Любителям высокотарифных описаний задним числом романтики гражданской войны в стиле «конструктивист» неплохо поучиться на действительном материале боевых лет, на действительной словесной работе этого времени.

Есть такие новые русские древние греки, которые все умеют засахарить и заэстетизировать.

Вот В. Полонский в книге о революционном плакате, вырвав из середины кусок, набредя на агитсатиру Роста времен боев с панами, агитку, весь смысл которой доказать:

Так кормите ж
красных рать,
хлеб неси без вою,
чтобы хлеб
не потерять
вместе с головою,—

* Предисловие к сборнику «Грозный смех».

этот самый Полонский вырывает из агитки случайный клочок и пишет «фрагмент». Не угодно ли?!

Так же может поступить историк литературы, приводящий слово «соединяйтесь» с подписью «фрагмент», чтоб все догадывались и радовались, что сие «фрагмент» лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Полонский не только не старается понять и систематизировать цель и направленность плакатных ударов, но просто вдохновенно парит над низменностью агитационного текста. Сейчас, с десятилетием ростинской работы, Третьяковская галерея, газеты, журналы любопытно и восторженно подбирают, клеят и смотрят клочки вручную крашенных листов, этих предков всех многотысячных сегодняшних сатирических журналов. Первые окна сатиры делались в одном экземпляре и вывешивались в немедленно обступаемых народом витринах и окнах пустующих магазинов, дальнейшие размножались трафаретом, иногда до 100—150 экземпляров, расхोдившихся по окнам агитпунктов.

Всего около девятисот названий по одной Москве. Ленинград, Баку, Саратов стали заводить свои окна.

Диапазон тем огромен.

Агитация за Коминтерн и за сбор грибов для голодающих, борьба с Врангелем и с тифозной вошью, плакаты о сохранении старых газет и об электрификации. Я рылся в Третьяковке, в Музее революции, в архивах участников. Едва ли от всей массы окон осталось сейчас более ста целых листов. Мы работали без установки на историю и славу. Вчерашний плакат безжалостно топтался в десятках переездов. Надо сохранить и напечатать оставшееся — пока не поздно. Только случайно найденный у М. Черемных альбом фотографий дал возможность разыскать тексты и снимки с исчезнувшего.

Моя работа в Роста началась так: я увидел на углу Кузнецкого и Петровки, где теперь Моссельпром, первый вывешенный двухметровый плакат. Немедленно обратился к заву Ростой, тов. Керженцеву, который свел меня с М. М. Черемных, одним из лучших работников этого дела.

Второе окно мы делали вместе. Дальше пришел и Малютин, а потом художники: Лавинский, Левин, Брик, Моор, Нюрнберг и др. Трафаретчики: Шиман, Михайлов и многие еще, фот. Никитин.

Первое время над текстом работал тов. Грамен, дальше почти все темы и тексты мои; работали еще над текстом О. Брик, Р. Райт, Вольпин. В двух случаях, отмеченных в книге звездочками, я нетвердо помню свое авторство текста. Сейчас, просматривая фотоальбом, я нашел около четырехсот одних своих окон. В окне от 4 до 12 отдельных плакатов, значит в среднем этих самых плакатов не менее 3200.

Подписей — второе собрание сочинений. (В этой книге — малая часть.)

Как можно было столько сделать?

Вспоминаю — отдыхов не было. Работали в огромной, нетопленной, сводящей морозом (впоследствии — выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской Роста.

Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, проспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова.

С течением времени мы до того изощрили руку, что могли рисовать сложный рабочий силуэт от пятки с закрытыми глазами, и линия, обрисовав, сливалась с линией.

По часам Сухаревки, видневшимся из окна, мы вдруг втроем бросались на бумагу, состязались в быстроте наброска, вызывая удивление Джона Рида, Голичера и др. заезжих осматривающих нас иностранных товарищей и путешественников. От нас требовалась машинная быстрота, — бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через 40 минут — час уже висело по улице красочным плакатом.

«Красочным» — сказано чересчур шикарно, красок почти не было, брали любую, чуть не размешивая на слюне. Этого темпа, этой быстроты требовал характер работы, и от этой быстроты вывешивания вестей об опасности или о победе зависело количество новых бойцов. И эта часть общей агитации подымала на фронт.

Вне телеграфной, пулеметной быстроты — этой работы быть не могло. Но мы делали ее не только в полную силу и серьезность наших умений, но и революционизировали вкус, подымали квалификацию плакатного искусства, искусства агитации. Если есть вещь, именуемая в рисунке «революционный стиль» — это стиль наших окон.

Рабочий!
Глупость беспартийную выкинь!
Если хочешь жить с другими вразброд,—
всех по очереди словит Деникин,
всех сожрет генеральский рот.
Если ж на зов партийной недели
придут миллионы с фабрик и с пашен,—
рабочий быстро докажет на деле,
что коммунистам никто не страшен.

1919, октябрь

ОКНО САТИРЫ РОСТА № 5.



РАБОЧИЙ !
ГЛУПОСТЬ БЕСПАРТИЙНУЮ ВЫКИНЬ!
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ С ДРУГИМИ В РАЗБОРД -
ВСЕХ ПО ОЧЕРЕДИ СЛОВИТ ДЕННИКИН,
ВСЕХ СОЖРЕТ ГЕНЕРАЛЬСКИЙ РОТ.



ЕСЛИ Ж. НА ЗОВ ПАРТИЙНОЙ
НЕДЕЛИ
ПРИДУТ МИЛЛИОНЫ С ФАБРИК
И С ПАШЕН -
РАБОЧИЙ БЫСТРО ДОКАЖЕТ НА ДЕЛЕ,
ЧТО КОММУНИСТАМ НИКТО НЕ
СТРАШЕН.

ЧИТАЙТЕ!
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УЗБЕКОВ И КИРГИЗОВ БУДЕТ
ЭТА СКАЗКА ОБ ОДНОМ ВЕРБЛЮДЕ

Таскал верблюдище
с дынями короб.
За день, бедняга,
натрудил свой горб.
Устал верблюд
в тяжелых переходах.
В сад залез
и лег на огдых.
Случайно
хан
проходил по саду,
думает:
«Дай на горбатого сяду».
Вскоре
подошел
толстопузый кадий,
пудов на двадцать прибавил кладн.
Мулла проходил,
и думает мулла:
«Сяду и я,
а то куча мала».
Росла на верблюде дармоедов куча,
до самого неба горб навьюча.
Проснулся верблюд
от тяжести лишней,
и все посыпались, как гнилые вишни.
Растоптал и пошел работать верблюд.
Бери пример с верблюда,
рабочий люд!

1919, 27 декабря

УТЕШЕНИЕ БУРЖУЮ

Буржуазия нас за год скрутить думала.
Да видите ли, цифра месяцев, оказывается, в году мала.
Радуйтесь, буржуи,— хорошие вести —
в этом году ожидается месяцев двести.

1919, 28 декабря

* * *

Оружие Антанты — деньги.
Белогвардейцев оружие — ложь.
Меньшевиков оружие — в спину нож.
Правда,
глаза открытые
и ружья —
вот коммунистов оружие.

1920, июль



1) ОРУЖИЕ АНТАНТЫ-ДЕНЬГИ 2) БЕЛОГВАРДЕНЦЕВ ОРУЖИЕ-ЛОЖЬ



3) МЕНШЕВИКОВ ОРУЖИЕ-4) ПРАВДА.
В СПИНУ НОЖ



5) ГЛАЗА ОТКРЫТЫЕ



6) И РУЖЬЯ-ВОТ КОММУНИ-
СТОВ ОРУЖИЕ.

РАСТА № 133

НОРМАЛИЗОВАННАЯ ГАЙКА

Подходи, рабочий!
Обсудим, дай-ка,
что это за вещь такая гайка?
Что гайка?
Ерунда! Малость!
А попробуй-ка
езжай, ежели сломалась.
Без этой вещи,
без гайки той—
ни взад, ни вперед.
Становись и стой!
Наконец отыскали гайку эту...
Прилаживают...
Никакой возможности нету!..
Эта мала,
та велика,—
словом,
не приладишь ее никак.
И пошли пешком,
как гуляки праздные.
Отчего?
Оттого, что гайки разные.
А если гайки одинаковые ввесь,
сломалась —
новая сейчас же есть.
И нечего долго разыскивать тут:
бери любую —
хоть эту, хоть ту!

И не только в гайке наше счастье.
Надо
всем машинам
одинаковые части,
а не то, как теперь —
паровоз и паровоз,—
один паровозом,
а другой, как воз.
Если это
поймет
рабочего разум —
к Коммуне
на паровозах
ринемся разом.

1920, шоль

* * *

Рабочий, не смотри Антанте в рот.
Ртом Антанта, наверное, только врет.
Вырви язык, чтоб не лила елей.
Посмотри на руки лучше ей.
Нанесет тебе этими руками смерть,
если будешь без дел Антанте верить.
Ты пану покажи, каков ты в драке.
Врангелю покажи, где зимуют раки.
Расправься со всеми буржуазными псами,
да так, чтоб и хозяева попрятались сами.
И если так к Антанте придем мы,
то уж наверное получим мир.

1920, июль

ОКНО САТИРЫ РОСТА №175.



1) РАБОЧНИЙ АЛЕНТИН АНТАНТЕ В ПОТ



2) РИМ АНТАНТЕ ПОСЛЕДНЕ ТОЛЬКО СПЕЛ



3) ВПЕРВЫЕ КРЫЛ, УПЕРВЫЕ АНТО ЕСТЬ



4) ПОСЛЕДНЕ НА РИМ АНТАНТЕ ЕСТЬ



5) НАДЕЖДА ТЕБЕ ЗНАЮЩИЕ РИМ АНТАНТЕ



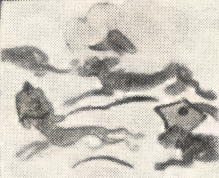
6) СОВЕТСКИЙ СЕЗ ДЕН АНТАНТЕ ВЕРНО.



7) ТЫ НАДЕЖДА ПОСЛЕДНЕ РАБОЧНИЙ АНТАНТЕ



8) РАБОЧНИЙ АНТАНТЕ, ТЫ ЗНАЮЩИЕ РИМ



9) НАДЕЖДА СОВЕТСКИЙ СОВЕТСКИЙ РАБОЧНИЙ



10) РАБОЧНИЙ АНТАНТЕ ПОСЛЕДНЕ РАБОЧНИЙ



11) РАБОЧНИЙ АНТАНТЕ ПОСЛЕДНЕ РАБОЧНИЙ



12) ТЫ НАДЕЖДА ПОСЛЕДНЕ РАБОЧНИЙ

* * *

Если жить вразброд,
как махновцы хотят,
буржуазия передушит нас, как котят.
Что единица?
Ерунда единица!
Надо
в партию коммунистическую объединиться.
И буржуи,
какими б ни были ярыми,
побегут
от мощи
миллионных армий.

1920, июль

ИСТОРИЯ ПРО БУБЛИКИ
И ПРО БАБУ,
НЕ ПРИЗНАЮЩУЮ РЕСПУБЛИКИ

Сья история была
в некоей республике,—
баба на базар плыла,
а у бабы бублики.
Слышит, топот близ её
музыкою вёется:
бить на фронте пановьё
мчат красноармейцы.
Кушать хоца одному,
говорит ей: «Тетя,
бублик дай голодному,—
вы ж на фронт нейдете?!
Коль без дела будет рот,
буду слаб, как мощи.
Пан республику сожрет,
если будем тощи».
Баба молвила: «Ни в жисть
не отдам я бублики!
Прочь, служивый, отвяжись!
Черта ль мне в республике?!»
Шел наш полк, и худ и тощ,
паны ж все саженные.
Нас смела панова мощь
в первом же сражении.
Мчится пан, и лют и яр,
смерть неся рабочим,
к глупой бабе на базар
влез он между прочим.

Видит пан — бела, жирна
баба между публики.
Миг — и съедена она,
и она и бублики.
Посмотри, на площадь выйды:
ни крестьян, ни ситника.
Надо во-время кормить
красного защитника.
Так кормите ж красных раты!
Хлеб неси без вою,
чтобы хлеб не потерять
вместе с головою!

1920, август

* * *

Врангель — фон,
Врангеля вон!
Врангель — враг.
Врангеля в овраг!

1920, октябрь — ноябрь

* * *

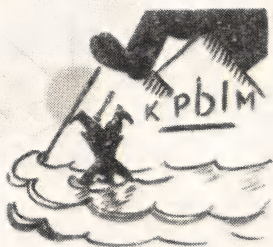
Антанта признавала Юденича,
Антанта признавала Деникина,
Антанта признавала Врангеля.
Теперь ничего не осталось, знать,
кроме как душой себя признать.

1920, ноябрь

* * *

Враг последний готов!
Постепенно будут отпускать
призывных старших годов.
Вернутся солдаты к себе в дом.
Займутся для расцвета
России трудом.
Одно не забудь —
жив капитализм в трех четвертях света.
Готов будь!

1920, декабрь



1. ВРАГ ПОСЛЕДНИЙ ГОТОВ!



2. ПОСТЕПЕННО БУДУТ ОТПУСКАТЬ
ПРИЗЫВНЫХ СТАРШИХ ГОДОВ.



3. ВЕРНУТСЯ СОЛДАТЫ К СЕБЕ
В ДОМ.



4. ЗАЙМУТСЯ ДЛЯ РАССВЕТА
РОССИИ ТРУДОМ.



5. ОДНО НЕ ЗАБУДЬ - ЖИВ
КАПИТАЛИЗМ В 3/4 СВЕТА.



6. ГОТОВ БУДЬ!

СТИХОТВОРЕНИЯ

1921—1930

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, красноезвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи,—
телами рвы заполняли вы,
по трупам пройдя перешеек.
Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою,—
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава,—
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем—
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.

В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

1921

О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморюсь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка—
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурировать я
на балу в Реввоенсовете?!»

На стенке Маркс.
Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канарейца.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните—
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1921

СКАЗКА ДЛЯ ШАХТЕРА-ДРУГА,
ПРО ШАХТЕРКИ, ЧУНИ
И КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

Раз шахтеры
шахты близ
распустили нюни:
мол, шахтерки продрались,
обносились чуни.
Мимо шахты шел шептун.
Втерся тихим вóром.
Нищету увидев ту,
речь повел к шахтерам:
«Большевистский этот рай
хуже, дескать, ада.
Нет сапог, а уголь дай.
Бастовать бы надо!
Что за жизнь,— не жизнь, а гроб...»
Вдруг
забойщик ловкий
шептуна
с помоста сгреб,
вниз спустил головкой.
«Слово мне позвольте взять!
Брось, шахтер, надежды!
Если будем так стоять —
будем без одежды.
Не сошьет сапожки бог,
не обует ноженьки.
Настоишься без сапог,
помощь ждя от боженьки.
Чтоб одели голяков,
фабрик нужен ряд нам.

Дашь для фабрик угольков —
Будешь жить нарядным.

Эй, шахтер,
куда ни глянь,

от тепла

до света,

даже пища от угля, —
от угля все это.

Даже с хлебом будет туго,
если нету угля.

Нету угля —

нету плуга.

Пальцем вспашешь луг ли?

Что без угля будешь есть?

Чем еду посолишь?

Чем хлеба и соль привезть
без угля изволишь?

Вся страна разорена.

Где ж работать было,

если силой всей она

вражьи силы била?

Биты белые в боях.

Все за труд!

За пользу!

Эй, рабочий,

Русь твоя!

Возроди и пользуй!

Все добудь своей рукой —
сапоги,

рубаху!

Так махни ж, шахтер, киркой —
бей по углю смаху!..»

И призыв горячий мой

не дослушав даже,

забивать пошли забой,

что ни день — то сажень.

Сгреб отгребщик уголь вон,

вбил крепильщик клетки,

а по штрекам

коногон

гонит вагонетки.

В труд ушедши с головой,
вагонетки эти
принимает стволочной,
нагружает клетки.
Вырвав тыщей дружных сил
из подземных сводов,
мчали уголь по Руси,
черный хлеб заводов.
Встал от сна России труп —
ожила громада,
дым дымит с фабричных труб,
все творим, что надо.
Сапоги для всех, кто бос,
куртки всем, кто голы,
развозил электровоз
чрез леса и доли.
И шахтер одет,
обут,
носом в табачишке.
А еды! —

Бери хоть пуд —
всякой снеси лишки.
Жизнь привольна и легка.
Светит уголь,
греется.
Всё у нас —
до молока
птичьего —
имеется.

Я, конечно, сказку сплел,
но скажу для друга:
будет вправду это все,
если будет уголь!

1921

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить 1 000 000.

Состояние!

Раньше б дом купил —
и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт
писать один отчет.
«Что это такое?» —
спрашивает с тоскою
машинистка.
Ну что отвечу ей?!
Черт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.
Недавно уверяла одна дура,
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температура.

Так привыкли к таким числам,
что меньше сажени число и не мыслим.
И нам,
если мы на митинге ревом,
рамки арифметики, разумеется, узки —

все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае — масштаб общерусский.
«Электрификация?!» — масштаб всероссийский.
«Чистка!» — во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба,
с вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши:
то грузовик обдаст,
то лошадь.
Балансируя
— четырехлетний навык! —
тащусь меж канавиц,
канав,
канавок.
И то
— на лету вспоминая маму —
с размаху
у почтамта
плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку на бок.
Что бабе масштаб грандиозный наш?
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меня
и власти крыла.

Правдив и свободен мой вещий язык
и с волей советскою дружен,
но натолкнувшись на эти низы,
даже я запнулся, сконфужен.
Я
на сложных агитвопросах рос,
а вот
не могу объяснить бабе,
почему это
о грязи
на Мясницкой
вопрос
никто не решает в общемясницком масштабе!

1921

ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам —
упитанные баритоны —
от Адама
до наших лет,
потрясающие — театрами именуемые — притоны
ариями Ромео и Джульетт.

Это вам —
пентры,
раздобревшие как кони,
жрущая и ржушая России краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому драконя
цветочки и телеса.

Это вам —
прикрывшиеся листиками мистики,
лбы морщинками изрыв —
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.

Это вам —
на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти — лак,
пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.

Это вам —
пляшущие, в дуду дующие
и открыто предающиеся
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.
Вам говорю
я —
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мерехлюндии
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что — «Ах, вот бедненький!»
Как он любил
и каким он был несчастным...?»
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.

Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»

У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»

Пока канителю, спорим,
смысл сокровенный ища,
«Дайте нам новые формы!» —
несется вопль по вещам.

Нет дураков,
жда, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.
Товарищи,
дайте новое искусство —
такое,
чтобы выволочь республику из грязи.

1921

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет, —
расходится народ в учреждения.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
Объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
Покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час
ни секретаря
ни секретарши нет —
голо!

Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О, дьяволыщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится разорваться!
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Не мне российская делегация вверена.
Я —
самозванец на конференции Генуэзской.
Дипломатическую вежливость товарища Чичерина
дополню по-моему —
просто и резко.
Слушай!
Министерская компанийка!
Нечего заплывшими глазками мерцать.
Сквозь фраки спокойные вижу —
паника
трясет лихорадкой ваши сердца.
Неужели
без смеха
думать в силе,
что вы
на конференцию
нас пригласили?
В штыки бросаясь на Перекоп идти,
мятежных склоняя под красное знамя,
трудом сгибаясь в фабричной копоти, —
мы знали —
заставим разговаривать с нами.
Не просьбой просителей язык замер,
не нищие, жмурающиеся от господского света, —
мы ехали, осматривая хозяйскими глазами
грядущую
Мировую Федерацию Советов.

Болтают язычишки газетных строк:
«Испытать их сначала...»
Хватили лишку!
Не вы на испытание даете срок —
а мы на время даем передышку.
Лишь первая фабрика взвила дым —
враждой к вам
в рабочих
вспыхнули души.
Слюной ли речей пожары вражды
на конференции
нынче
затушим?!
Долги наши,
каждый медный грош,
считают «Матэны»,
считают «Таймсы».
Считаться хотите?
Давайте!
Что ж!
Посчитаемся!
О вздернутых Врангелем,
о расстрелянном,
о заколотом
память на каждой крымской горе.
Какими пудами
какого золота
оплатите это, господин Пуанкаре?
О вашем Колчаке — Урал спросите!
Зверством — аж горы вгонялись в дрожь.
Каким золотом —
хватит ли в Сити?! —
оплатите это, господин Ллойд-Джордж?
Вонзите в Волгу ваше зрение:
разве этот
голодный ад,
разве это
мужицкое разорение —
не хвост от ваших войн и блокад?
Пусть
кладбищами голодной смерти
каждый из вас проташится сам!

На каком —
на железном, что ли, эксперте
не встанут дыбом волоса?
Не защититесь пунктами резолюций-плотин.
Мировая —
ночи пальбой веселя —
революция будет —
и велит:
«Плати
и по этим российским векселям!»
И розовые краснеют мало-помалу.
Тише!
Не дыша!
Слышите
из Берлина
первый шаг
Трех Интернационалов?
Растя единство при каждом ударе,
идем.
Прислушайтесь —
вздрагивает здание.

Я кончил.
Милостивые государи,
можете продолжать заседание.

1922

ПАРИЖ

(Разговорчики с Эйфелевой башней)

Обшаркан миллионом ног.
Исшелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица,
до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня —
из зверорыбьих морд —
еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde.
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слежкой умаяна,
ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана.
— Т-ш-ш-ш,
башня,
тише шлепайте! —
увидят!
Луна — гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,

ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу).
— Я разagitировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем,
башня —
хотите возглавить восстание?
Башня —
мы
вас выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских вирш ¹.
Для вас
не место — место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились ²,
метро со мною, —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют —
кровью смоят
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились —
не ими литься
выюнам богатых.
Они не рабы!
Они убедились:
им
более к лицам
наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня —
улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт —

657





грунт
исполосуют рельсы.
Я поднимаю рельсовый бунт.
Бойтесь?
Трактиры заступятся стаями.
Бойтесь?
На помощь придет Рив-гош³.
Не бойтесь!
Я уговорился с мостами.
Вплавь
реку
переплыть
не легко ж!
Мосты,
распалясь от движения злого,
подымутся враз с парижских боков.
Мосты забунтуют
по первому зову—
прохожих ссыпят на камень быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам невоготу.
Пройдет
пятнадцать лет
иль двадцать,
обдрябнет сталь,
и сами
вещи
тут
пойдут
Монмартрами⁴ на ночи продаваться.
Идемте, башня!
К нам!
Вы —
там,
у нас,
нужней!
Идемте к нам!
В блестеньи стали,
в дымах —
мы встретим вас,
мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.

Идем в Москву!

У нас

в Москве

простор.

Вы

— каждой! —

будете по улице иметь.

Мы

будем холить вас:

раз сто

за день

до солнц расчистим вашу сталь и медь.

Пусть

город ваш,

Париж франтих и дур,

Париж бульварных ротозеев,

кончается один, в сплошной складбищась Лувр⁵,

в старье лесов Булонских⁶ и музеев.

Вперед!

Шагни четверкой мощных лап,

прибитых чертежами Эйфеля,

чтоб в нашем небе твой израдило лоб,

чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!

Решайтесь, башня,—

нынче же вставайте все,

разворотив Париж с верхушки и до низу!

Идемте!

К нам!

К нам, в СССР!

Идемте к нам —

я

вам достану визу!

1922—1923

¹ А п о л л и н е р — французский поэт.

² М е т р о — метрополитен, подземная железная дорога.

³ Р и в - г о ш — левый берег, демократическая часть Парижа.

⁴ М о н м а р т р — квартал в Париже, где находится большинство кабаков и шантанов.

⁵ Л у в р — музей в Париже.

⁶ Б у л о н с к и й л е с — парк в Париже.

О «ФИАСКАХ», «АПОГЕЯХ»
И ДРУГИХ НЕВЕДОМЫХ ВЕЩАХ

На съезде печати
у товарища Калинина
великолепнейшая мысль в речь вклинена:
«Газетчики,
Думайте о форме!»
До сих пор мы
не подумали об усовершенствовании статейной
формы.

Товарищи газетчики,
СССР оглазейте,—
как понимается описываемое в газете.

Акуловкой получена газет связка.

Читают.

В буквы глаза втыкают.

Прочли:

— «Пуанкаре терпит фиаско».

Задумались.

Что это за «фиаска» за такая?

Из-за этой «фиаски»

грамотей Ванюха

чуть не разодрался:

— Слушай, Петь,

с «фиаской» остро держи ухо:

даже Пуанкаре приходится его терпеть.

Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи,

даже Стишеса —

и то! —

прогнал из Рура.

А этого терпит.
Значит — богаче.
Американец, должно.
Понимаешь, дура?!—

С тех пор,
когда самогонщик,
местный туз,
проезжал по Акуловке, гремя коляской,
в уважение к богатству,
скидавая картуз,
его называли:
— Господином Фиаской.

Последние известия получили красноармейцы.
Сели.
Читают, газетиной вея.
— О французском наступлении в Руре имеется?
— Да, вот написано:
«Дошли до своего апогея».
— Товарищ Иванов!
ты ближе.
Эй!
На карту глянь!
Что за место такое:
А-п-о-г-е-й? —
Иванов ищет.
Дело дрянь.
У парня
аж скулу от напряжения свело.
Каждый город просмотрел,
каждое село.
«Эссен есть,—
Апогея нету!
Деревушка махонькая должно быть это.
Верчусь,—
аж дыру провертел в сапоге я,—
не могу найти никакого Апогея».
Казарма
малость
посовещалась.

Наконец
товарищ Петров взял слово:
— Сказано: до своего дошли —
ведь не до чужого.
Пусть рассеется сомнений дым.
Будь он селом или градом,
своего «апогея» никому не отдадим,
а чужих «апогеев» нам не надо.—

Чтоб мне не писать, впустую оря,
мораль вывожу тоже:
то, что годится для иностранного словаря,
газете — не гоже.

1923

МЫ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!

Не надо!

Разве молнии велишь

не литься?

Нет!

не оковать язык грозы!

Вечно будет

тысячестраничный

грохотать

набатный

ленинский язык.

Разве гром бывает немотою болен?!

Разве удержишь смерч,

чтоб вихрем не кипел?!

Het!

не ослабеет ленинская воля

в миллионносыльной воле РКП.

Разве жар

такой

термометрами меряется?

Разве пульс

такой

секундами гудит?!

Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.

Нет!

нет!

не-е-т...

Не хотим,

не верим в белый бюллетень.

С глаз весенних

сгинь, навязчивая тень!

1923

ВОРОВСКИЙ

Сегодня,
 пролетариат,
 гром
 голосов
 раскуй,
забудь
 о всепрощеньи-воске.
Приконченный
 фашистской шайкой воровской,
в последний раз
 Москвой пройдет Воровский.
Сколько не станет...
 Сколько не стало...
Скольких в клочья...
 Скольких в дым...
Где б ни сдали,
 чья б ни сдала,—
мы не сдали!
 Мы не сдадим!
Сегодня
 гнев
 скругли
 в огромный
 бомбы мяч.
Сегодня
 голоса
 размолний штычьим блеском.
В глазах
 в капиталистовых маячь.
Чертись
 по королевским занавескам.

Ответ

в мильон шагов

пошли

на наглость нот.

Мильонную толпу

у стен кремлевских вызмей.

Пусть

смерть товарища

сегодня

подчеркнет

бессмертье

дела коммунизма.

1923

ВЕСЕННИЙ ВОПРОС

Страшное у меня горе.
Вероятно —
 лишусь сна.
Вы понимаете,
 вскоре
В РСФСР
 придет весна.
Сегодня
 и завтра
 и веков испокон
шатается комната —
 солнца пропойца.
Невозможно работать.
 Определенно беспокоен.
А ведь откровенно говоря —
 совершенно не из-за чего беспокоиться.
Если подойти серьезно —
 так-то оно так.
Солнце посветит —
 и пройдет мимо.
А вот попробуй —
 от окна оттяни кота.
А если и животное интересуется
 улицей,
 то мне
 это —
 просто необходимо.
На улицу вышел
 и встал в лени я,
не в силах...
 не сдвинуть с места тело.

Нет совершенно
 ни малейшего представления,
что ж теперь, собственно говоря, делать?!
И за шиворот
 и по носу
 каплет безбожно.
Слушаешь.
 Не смахиваешь.
 Будто стих.
Юридически —
 куда хочешь идти можно,
но фактически —
 сдвинуться
 никакой возможности.
Я, например,
 считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
 могу
 доказать:
 «самогон — большое зло».
А что про это?
 Чем про это?
Ну, нет совершенно никаких слов.
Например:
 город советские служащие искрапили,
приветствуй весну,
 ответь салютно!
Разучились —
 нечем ответить на капли.
Ну, не могут сказать —
 ни слова.
 Абсолютно!
Стали вот так вот —
 смотрят рассеянно.
Наблюдают —
 скалывают дворники лед.
Под башмаками вода.
 Бассейны.
Сбоку брызжет.
 Сверху льет.

Надо принять какие-то меры.
Ну, не знаю что,—
 например:
 выбрать день
 самый синий,
и чтоб на улицах
 улыбающиеся милиционеры
всем
 в этот день
 раздавали апельсины.
Если это дорого —
 можно выбрать дешевле,
 проще.
Например:
 чтоб старики,
 безработные,
 неучащаяся детвора
в 12 часов
 ежедневно
 собирались на Советской
 площади,
троекратно кричали б:
 ура!
 ура!
 ура!
Ведь все другие вопросы
 более или менее ясны.
И относительно хлеба ясно
 и относительно мира ведь.
Но этот
 кардинальный вопрос
 относительно весны
нужно
 во что бы то ни стало
 теперь же урегулировать.

КЕРЗОН

Многие
слышали звон,
да не знают,
что такое —
Керзон.
В редком селе,
у редкого города
имеется
карточка
знаменитого лорда.
Гордого лорда
запечатлеть рад.
Но я,
разумеется,
не фотографический аппарат.
Что толку
в лордовой морде нам?!
Лорда
рисую
по делам
по лординым.
У Керзона
замечательный вид.
Сразу видно —
Керзон родовит.
Лысина
двумя волосенками припомажена.
Лица не имеется:
деталь,
не важно.

Лицо
 принимает,
 какое модно,
какое
 английским купцам угодно.
Керзон красив —
 хоть на выставку, выставь.
Во-первых,
 у Керзона,
 как и необходимо
 для империалистов,
вместо мелочей
 на лице
 один рот:
то ест,
 то орет.
Самое удивительное
 в Керзоне —
 аппетит.
Во что
 умудряется
 столько идти?!
Заправляет
 одних только
 мурманских осетров
по тралеру
 ежедневно
 в желудок-ров.
Бойся
 Керзону
 в зубы даваться,—
аппетит его
 за обедом
 склонен разрастаться.
И глотка хороша.
 Из этой
 глотки
голос —
 это не голос,
 а медь.

Но иногда
 испускает
 фальшивые нотки,
если на ухо
 наш
 наступает медведь.
Хоть голос бочкин,
 за версты дно там,
но толк
 от нот от этих
 мал.

Рабочие
 в ответ
 по этим нотам
распевают
 «Интернационал».

Керзон
 одеждой
 надает очок!
Разглаженнейшие брючки
 и изящнейший фрак;
духами душитесь,—
 не помню имя,—
предпочел бы
 бакинскими душиться,
 нефтяными.

На ручках
 перчатки
 вечно таскает,—
общеизвестная манера
 шулерская.

Во всяких разговорах
 Керзонья тактика —
передернуть
 парочку фактиков.

У Керзона
 влечение
и к развлечениям.
Одно из любимых
 керзоновских
 занятий —

ходить
 к задравшейся
 английской знати.
 Хлебом Керзона не корми,
 дай ему
 задравшихся супругов.
 Моментально
 водворит мир,
 рассказав им
 друг про друга.
 Мужу скажет:
 — Не слушайте
 сплетни,
 не старик к ней ходит,
 а несовершеннолетний.—
 А жене:
 — Не верьте,
 сплетни о шансонетке.
 Не от нее,
 от другой
 у мужа
 детки.—
 Вцепится
 жена
 мужу в бороду
 и тянет
 книзу,—
 лафа Керзону
 лорду-
 маркизу.
 Говорит,
 похихикивая
 подобаяюще сану:
 — Ну, и устроил я им
 Лозанну!—
 Многим
 выяснится
 в этой миниатюрке,
 из-за кого
 задрались
 греки
 и турки.

В нотах
Керзон
удал,
в гневе —
яр,
но можно
умилостивить,
показав доллар.
Нет обиды,
кою
было бы невозможно
смыть деньгою.
Давайте доллары,
гоните шиллинги,
и снова
Керзон —
добрый
и миленький.
Был бы
полной чашей
керзоний дом,
да зловредная организация
у Керзона
бельмом.
Снится
за ночь
Керзону
раз сто,
как
подымают
Восток,
и от гордой
Британской
империи
летят
по ветру
пух и перья.
Вскочит
от злости
бегемотово-сер,
да кулаками на карту
СССР.

Пока
 кулак
 не расшибет о камень,
бьет
 по карте
 стенной
 кулаками.

П р и м е ч а н и е.

Можно
 еще пописать
 лик-то,
да не люблю я
 этих
 международных
 конфликтов.

1923

ГОМПЕРС

Из вас
 никто —
 ни с компасом,
 ни без компаса —
никак
 и никогда
 не сыщет Гомперса.
Многие
 даже не знают,
 что это:
фрукт,
 фамилия
 или принадлежность туалета?
А в Америке
 это имя
 гремит, как гром.
Знает каждый человек,
 и лошадь,
 и пес:
— А!
 как же,
 знаем,
 знаем —
 знаменитейший,
 уважаемый Гомперс! —
Чтоб вам
 мозги
 не сворачивало от боли,
чтоб вас
 не разрывало недоумение, —

сообщаю:

Гомперс —
человек,
более

или менее.

Самое неожиданное,
как в солнце дождь,

что Гомперс
величается —
«рабочий вождь»!

Но Гомперсу
гимны слагать
рановато.

Советую
осмотреться, ждя,—
больно уж
вид странноватый
у этого
величественного
американского вождя.

Дактилоскопией
снимать бы
подобных выжиг,
чтоб каждый
троевидно видеть мог.

Но...
по причинам, приводимым ниже,
приходится
фотографировать
только профилек.

Окидывая
Гомперса
умственным оком,
удивляешься,
чего он
ходит боком?

Думаешь —
первое впечатление
ложное,
разбираешься в вопросе —

и снова убеждаешься:
стороны
противоположной
нет
вовсе.
Как ни думай,
как ни ковырай,
никому,
не исключая и господ-громовержца,
непонятно,
на чем,
собственно говоря,
этот человек
держится.
Нога одна,
хотя и длинная.
Грудь одна,
хотя и бравая.
Лысина —
половинная,
всего — половина,
и то —
правая.
Но где же левая,
левая где же?!
Открою —
проще
нет ларчика:
куплена
миллиардерами
Рокфеллерами,
Корнеджи.
Дыра —
и слегка
прикрыта
долларчиком.
Ходить
на двух ногах
старо.
Но себя
на одной
трудно нести.

Гомперс
 прихрамывает
 от односторонности.
 Плетется он
 у рабочего движения в хвосте.
 Меж министрами
 треплется
 полуборода полуседа.
 Раскланиваясь
 разлюбезно
 то с этим,
 то с тем,
 к ихнему полу
 реверансами
 полуприседает.
 Чуть
 рабочий
 за ум берется,—
 чтоб рабочего
 обратно
 впречь,
 миллиардеры
 выпускают
 своего уродца,
 и уродец
 держит
 такую речь:
 — Мистеры рабочие!
 Я стар,
 я сед
 и советую:
 бросьте вы революции эти!
 Ссориться
 с папашей
 никогда не след.
 А мы
 все —
 рокфеллеровы дети.
 Скажите,
 ну зачем
 справлять маевки?!

Папаша
 Рокфеллер
 не любит бездельников.
 Работать будете —
 погладит по головке.
 Для гуляний
 разве
 мало понедельников?!
 Я сам —
 рабочий бывший,
 лишь теперь
 у меня
 буржуазная родня.
 Я,
 по понедельникам много пивший,
 утверждаю:
 нет
 превосходнее
 дня.
 А главное —
 помните:
 большевики —
 буки,
 собственность отменили!
 Аж курам смех!
 Словом,
 если к горлу
 к большевичьему
 протянем руки,—
 помогите
 Рокфеллерам
 с ног
 со всех.—
 Позволяют ему,
 если речь
 чересчур гаденька,
 даже
 к ручке приложиться
 президента Гардинга.
 ВЫВОД —
 вслепую
 не беги за вождем.

КИЕВ

Лапы елок,
 лапки,
 лапушки...
Все в снегу,
 а теплые какие!
Будто в гости
 к старой,
 старой бабушке
я
 вчера
 приехал в Киев.
Вот стою
 на горке
 на Владимирской.
Ширь вовсю —
 не вымчать и перу!
Так
 когда-то,
 рассиявшись в выморозки,
киевскую
 Русь
 оглядывал Перун.
А потом —
 когда
 и кто,
 не помню толком,
только знаю,
 что сюда вот
 по льду,

да и по воде,
 в порогах,
 волоком —
шли
 с дарами
 к Диру и Аскольду.
Дальше
 было солнце
 куполам в литавры.
— На колени, Русь!
 Согнись и стой.—
До сегодня
 нас
 Владимир гонит в лавры.
Плеть креста
 сжимает
 каменный святой.
Шли
 из мест
 таких,
 которых нету глуше,—
прадеды,
 прапрадеды
 и пра пра пра!..
Много
 всяческих
 кровавых безделушек
здесь у бабушки
 моей
 по берегам Днепра.
Был убит
 и снова встал Столыпин,
памятником встал,
 вложивши пальцы в китель.
Снова был убит,
 и вновь
 дрожали липы
от пальбы
 двенадцати правительств.

А теперь
 встают
 с Подола
 дымы,

 киевская грудь
 гудит,
 котлами грета.
 Не святой уже —
 другой,
 земной Владимир
 крестит нас
 железом и огнем декретов.
 Даже чуть
 зарусофильствовал
 от этой шири!
 Русофильство,
 да другого сорта.
 Вот
 моя
 рабочая страна,
 одна
 в огромном мире.
 — Эй!
 Пуанкаре!
 возьми нас?!
 Чёрта!
 Пусть еще
 последний,
 старый батька
 содрогает
 плачем
 лавры звонницы.
 Пусть
 еще
 врезается с Крещатика
 волчий вой:
 «Даю-беру червонцы!»
 Наша сила —
 правда,
 ваша —
 лавры звоны.

Ваша —
дым кадильный,
наша —
фабрик дым.
Ваша мощь —
червонец,
наша —
стяг червонный.
Мы возьмем,
займем
и победим.
Здравствуй
и прощай, седая бабушка!
Уходи с пути!
скорее!
ну-ка!
Умирай, старуха,
спекулянтка,
набожка!
Мы идем —
ватага юных внуков!

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Смерть —
не сместь!

Строит,
 рушит,
 кроит
 и рвет,
тихнет,
 кипит
 и пенится,
гудит,
 говорит,
 молчит
 и ревет —
юная армия:
 ленинцы.
Мы
 новая кровь
 городских жил,
тело нив,
ткацкой идеи
 нить.
Ленин —
 жил.
Ленин —
 жив.
Ленин —
 будет жить.

Залили горем.
 Свезли в мавзолей

Ленин ведь
тоже начал с азов,—
жизнь —
мастерская геньина.
С низа лет,
с класса низов —
рвись
разгромадиться в Ленина.
Дрожите, дворцов этажи!
Биржа нажив,
будешь
битая
выть.

Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин —
больше
самых больших,
но даже
и это
диво
создали всех времен
малыши —

мы,
малыши коллектива.
Мускул
узлом вяжи.
Зубы — ножи
в знанье.
Вонзай крошить.

Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Строит,
рушит, кроит
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
молчит,
говорит
и ревет —
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идеи
нить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

31 марта 1924

СЕЛЬКОР

Город растёт,
а в далекой деревне,
в тихой глуши
медвежья угла
все ещё
стынет
в дикости древней
старый,
косматый,
звериный уклад.
Дико в деревне,
и только селькоры,
жизнь
подставляя
смертельным рискам,
смело
долбят
непорядков горы
куцам
своим
карандашным огрызком.
Ходит
деревнею
слух ухатый:
— «Ванька писатель!» —
Банда кулацкая,
камни запрятав,
таится у хаты,
бродит,
зубами
по-волчьи лацкает.

В темном лесу
 настигнут к нѣчи...
 — «Ванька идет!
 Православные,
 тише!»
 Раз топором!
 А после гогочут:
 — «Што?
 Теперь,
 небойсь, не напишет!»
 Труден
 и тяжек
 путь селькора.
 Но славят
 и чтут вас
 каждый день
 все,
 кто беден,
 все, кто в горе,
 все, кто в обиде,
 все, кто в нужде!
 Враг богат,
 изворотлив
 и ловок,
 но не носить нам
 его оков.
 Ваш карандаш
 вернее винтовок,
 бьет
 и пронзает
 лучше штыков.

1924

ЮБИЛЕЙНОЕ

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.

Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон;

тревожусь я о нем,
в щенка смиренном львенке.

Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн

в моей
позорно легкомыслей головенке.

Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?

Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.

У меня,
да и у вас
в запасе вечность.

Что нам
потерять
часок-другой?!

Будто бы вода —
давайте
мчать, болтая,

будто бы весна —
свободно
и раскованно!

В небе вон
 луна
 такая молодая,
что ее
 без спутников
 и выпускать рискованно.
Я
 теперь
 свободен
 от любви
 и от плакатов.
Шкурой
 ревности медведь
 лежит когтист.
Можно
 убедиться,
 что земля поката,—
сядь
 на собственные ягодицы
 и катись!
Нет,
 не навяжусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется
 ни с кем.
Только
 жабры рифм
 топырит учащённо
у таких, как мы,
 на поэтическом песке.
Вред — мечта,
 и бесполезно грезить,
надо
 весть
 служебную нуду.
Но бывает —
 жизнь
 встает в другом разрезе,
и большое
 понимаешь
 через ерунду.

Нами
 лирика
 в штыки
 неоднократно атакована,
 ищем речи
 точной
 и нагой.

Но поэзия —
 пресволоочнейшая штуковина:
 существует —
 и ни в зуб ногой.

Например,
 вот это —
 говорится или блеется?

Синемордое,
 в оранжевых усах,
 Навуходоносором
 библейцем —

«Коопсах».
 Дайте нам стаканы!
 Знаю
 в горе способ старый
 дуть винище,
 но смотрите —
 из

выплывают
 Red и White Star'ы
 с ворохом
 разнообразных виз.

Мне приятно с вами, —
 рад,
 что вы у столика.

Муза это
 ловко
 за язык вас тянет.

Как это
 у вас
 говаривала Ольга?..

Да не Ольга!
 из письма
 Онегина к Татьяне.

— Дескать,
 муж у вас
 дурак
 и старый мерин,
 я люблю вас,
 будьте обязательно моя,
 я сейчас же,
 утром, должен быть уверен,
 что с вами днем увижусь я.—
 Было всякое:
 и под окном стояние,
 письма,
 тряски нервное желе.
 Вот
 когда
 и горевать не в состоянии —
 это,
 Александр Сергееч,
 много тяжелей.
 Айда, Маяковский!
 Маячь на юг!
 Сердце
 рифмами вымучь —
 вот
 и любви пришел каюк,
 дорогой Владим Владимыч.
 Нет,
 не старость этому имя!
 Түшу
 вперед стремя,
 я
 с удовольствием
 справлюсь с двоими,
 а разозлить —
 и с тремя.
 Говорят —
 я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-и!
 Entre nous...
 чтоб цензор не нацикал.
 Передам вам —
 говорят —
 видали

даже
 двух
 влюбленных членов ВЦИКа.
 Вот —
 пустили сплетню,
 тешат душу ею.
 Александр Сергеич,
 да не слушайте ж вы их!
 Может,
 я
 один
 действительно жалею,
 что сегодня
 нету вас в живых.
 Мне
 при жизни
 с вами
 сговориться б надо.
 Скоро вот
 и я
 умру
 и буду нем.
 После смерти
 нам
 стоять почти что рядом:
 вы на Пе,
 а я
 на ЭМ.
 Кто меж нами?
 С кем велите знаться?!
 Чересчур
 страна моя
 поэтами нищá.
 Между нами
 — вот беда —
 позатесался Нádсон.
 Мы попросим,
 чтоб его
 куда-нибудь
 на Ща!

А Некрасов
 Коля,
 сын покойного Алеши —
 он и в карты,
 он и в стих,
 и так
 неплох на вид.
 Знаете его?
 вот он
 мужик хороший.
 Этот
 нам компания —
 пускай стоит.
 Что ж о современниках?!
 Не просчитались бы,
 за вас
 полсотни отдав.
 От зевоты
 скулы
 разворачивает аж!
 Дорогойченко,
 Герасимов,
 Кириллов,
 Родов —
 какой
 одноробразный пейзаж!
 Ну, Есенин,
 мужиковствующих свора.
 Смех!
 Коровою
 в перчатках лаечных.
 Раз послушаешь...
 но это ведь из хора!
 Балалаечник!
 Надо,
 чтоб поэт
 и в жизни был мастак.
 Мы крепки,
 как спирт в полтавском штофе.

Ну, а что вот Безыменский?!
Так...

ничего...

морковный кофе.

Правда,

есть

у нас

Асеев

Колька.

Этот может.

Хватка у него

моя.

Но ведь надо

заработать сколько!

Маленькая,

но семья.

Были б живы —

стали бы

по Лефу соредактор.

Я бы

и агитки

вам доверить мог.

Раз бы показал:

— вот так-то, мол,

и так-то...

Вы б смогли —

у вас

хороший слог.

Я дал бы вам

жиркость

и сўкна,

в рекламу б

выдал

гумских дам.

(Я даже

ямбом подсюсюкнул,

чтоб только

быть

приятней вам.)

Вам теперь

пришлось бы

бросить ямб картавый.

Нынче
 наши перья —
 штык
 да зубья вил,—
 битвы революций
 посерьезнее «Полтавы»,
 и любовь
 пограндиознее
 онегинской любви.
 Бойтесь пушкинистов.
 Старомозгий Плюшкин,
 перышко держа,
 полезет
 с перержавленным.
 — Тоже, мол,
 у лефов
 появился
 Пушкин.
 Вот арап!
 А состязается —
 с Державиным...—
 Я люблю вас,
 но живого,
 а не мумию.
 Навели
 хрестоматийный глянец.
 Вы
 по-моему
 при жизни
 — думаю —
 тоже бушевали.
 Африканец!
 Сукин сын Дантес!
 Великосветский шкода.
 Мы б его спросили:
 — А ваши *кто* родители?
 Чем вы занимались
 до 17-го года?—
 Только этого Дантеса бы и видели.
 Впрочем,
 что ж болтанье!
 Спиритизма вроде.

Так сказать,
невольник чести... пулею сражен...

Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.

Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.

Только вот
поэтов,
к сожалению, нету,—
впрочем, может,
это и не нужно.

Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.

Как бы
милиционер
разыскивать не стал.

На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.

Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.

Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.

Заложил бы
динамит
— а ну-ка
дрызнь!

Ненавижу
всяческую мертвечину!

Обожаю
всяческую жизнь!

ПРОЛЕТАРИЙ,
В ЗАРОДЫШЕ ЗАДУШИ ВОЙНУ!
(Будущие)

ДИПЛОМАТИЯ

— Мистер министр? How do you do?
Ультиматум истек. Уступки?

Фирме Морган
должен Крупп
ровно
три миллиарда
и руп.

Обложить облака!
Начать бои!
Будет добыча —
вам пай.

Люди — ваши,
расходы —
мой.

Good bye!

МОБИЛИЗАЦИЯ

«СМИТ И СЫН.
Самоговорящий ящик».

Ящик
министр
придвинул быстр.

В раструб трубы,
 мембране говорящей,
 сорок
 секунд
 бубнил министр.
 Сотое авеню.
 Отец семейства.
 Дочь
 играет
 цепочкой на отце.
 Записал
 с граммофона
 время и место.
 Фармацевт — как фармацевт.
 Пять сортировщиков.
 Вид водолаза.
 Серых
 масок
 немигающий глаз
 усталили
 в триста баллонов газа.
 Блок
 минуту
 повизгивал, лазя,
 грузя
 в кузова
 «чумной газ».
 Клубы
 Нью-Йорка
 раскрылись в сроки,
 раз
 не разнился
 от других разов.
 Фармацевт
 снял,
 убивши в покер
 флеш-роялем
 — четырех тузов.

НАСТУПЛЕНИЕ

Штаб воздушных гаваней и доков.
Возд-воен-электрик
Джим Уост
включил
в трансформатор
заатлантических токов
триста линий —
зюд-ост.
Авиатор
в карте
к цели полета
вграфил
по линейке,
в линию линия.
Ровно
в пять
без механиков и пилотов
взвились
триста
чудовищ алюминия.
Треугольник
— летящая фабрика ветра —
в воздух
триста винтов всвистал.
Скорость —
шестьсот пятьдесят километров.
Девять
тысяч
метров —
высота.
Грозой не кривясь,
ни от ветра резкого,
только будто
гигантский кольт —
над каждым аэро
сухо потрескивал
ток
в 15 тысяч вольт.
Встали
стражей неба вражьего.

Слово
 свело
 в холодеющем нёбе;
ножки,
 еще минуту подрыгав,
рядом
 легли —
 успокоились обе.
Безумные
 думали:
 «Сжалим,
 умолим».
Когда
 растаял
 газ,
 повися,—
ни человека,
 ни зверя,
 ни моли!
Жизнь
 была
 и вышла вся.
Четыре
 аэро
 снизились искоса,
лучи
 скрестя
 огромнейшим иксом.
Был труп
 — и нет.
Был дом
 — и нет его.
Жег
 свет
фиолетовый.
Обделали чисто.
 Ни дыма,
 ни мрака.
Взорвали,
 взрыли,
 смыли,
 взмели.

И город
 лежит
 погашенной маркой
на грязном,
 рваном
 пакете земли.

ПОБЕДА

Морган.
 Жена.
 В корсетах.
 Не двинется.
Глядя,
 как
 шампанское пенится,
Морган сказал:
 — Дарю
 имениннице
немного разрушенное,
 но хорошее именьеце!

ТОВАРИЩИ, НЕ ДОПУСТИМ

Сейчас
 подытожена
 великая война.
Пишут
 мемуары
 истории писцы.
Но боль близких,
 любимых, нам
еще
 кричит
 из сухих цифр.
30
 миллионов
 взяли на мушку,
в сотнях
 миллионов
 стенанье и вой.

Но и этот
 ад
 покажется погремушкой
 рядом
 с грядущей,
 готовящейся войной.
 Всеми спинами,
 по пленам драными,
 руками,
 брошенными
 на операционном столе,
 всеми
 в осень
 ноющими ранами,
 всей трескотней
 всех костылей,
 дырами ртов,
 — выбил бой!—
 голосом,
 визгом газовой боли —
 сегодня,
 мир,
 крикни
 — Д о л о й!!!
 Не будет!
 Не хотим!
 Не позволим!
 Нациям
 нет
 врагов наций.
 Нацию
 выдумал
 мира враг.
 Выходи
 не с нацией драться,
 рабочий мира,
 мира батрак!
 Иди,
 пролетарской армией топая,
 штыки
 последние
 атакой выставь!

«Фразы
о мире —
пустая утопия,
пока
не экспроприрован
класс капиталистов».
Сегодня...
завтра... —
а справимся все-таки!
Виновным — смерть.
Невиновным — едвойне.
Сбейте
жирных
дюжины и десятки.
Миру — мир,
война — войне.

1924

ПРОЧЬ РУКИ ОТ КИТАЯ!

Война,
империализма дочь,
призраком
над миром витает.
Рычи, рабочий:
— Прочь
руки от Китая!—
Эй, Макдональд,
не морочь,
в лигах
речами тая.
Назад, дредноуты!
— Прочь
руки от Китая!—
В посольском квартале,
цари точь-в-точь,
расселись,
интригу сплетая.
Сметем паутину.
— Прочь
руки от Китая!—
Ку́ли,
чем их кули́ волочь,
рикшами
их катая —
спину выпрями!
— Прочь
руки от Китая!—

Колонией
вас
хотят истолочь.
400 миллионов —
не стая.
Громче, китайцы:
— Прочь
руки от Китая! —
Пора
эту сволочь сволочь,
со стен
Китая
кидая.
— Пираты мира,
прочь
руки от Китая! —
Мы
всем рабам
рады помочь,
сражаясь,
уча
и питая.
Мы с вами, китайцы!
— Прочь
руки от Китая! —
Рабочий,
разбойничью ночь
громи,
ракетой кидая
горящий лозунг:
— Прочь
руки от Китая!

ВЛАДИКАВКАЗ — ТИФЛИС

Только
нога
ступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я —
грузин.
Эльбрус,
Казбек.
И еще —
как вас?!
На гору
горы грузи!
Уже
на мне
никаких рубях.
Бродягой, —
один архалух.
Уже
подо мной
такой карабах,
что Ройльсу —
и то б в похвалу.
Было:
с ордой,
загорел и носат,
старее
всего старья,
я влез,
веков девятнадцать назад,
вот в этот самый
в Дарьял.

Лезгинщик
 и гитарист душой,
 в многовековом поту,
 я землю
 прошел
 и возделал мушбóй
 отсюда
 по самый Батум.
 От этих дел
 не вспомнят ни зги.
 История —
 врун даровитый,
 бубнит лишь,
 что были
 царьки да князьки:
 Ираклии,
 Нины,
 Давиды.
 Стена —
 и то
 знакомая что-то.
 В тахтах
 вот этой вот башни —
 я помню:
 я вел
 Руставели Шбóтой
 с царицей
 с Тамарою
 шашни.
 А после
 катился,
 костьями хрустя,
 чтоб в пену
 Тереку врыться.
 Да это что!
 Любовный пустяк!
 И лучше
 резвилась царица.
 А дальше
 я видел —
 в пробоину скал

вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звения,
опускались войска
золотопогонников русских.
Лениво
от жизни
взбираясь ввысь,
гитарой
душу отверз —
«Мхолот шен эртс
рац, ром чемтвис
Моуция
маглидган гмертс...»
И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.
И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.
Живились
в пажах
князёвы сынки,
а я,
ежедневно
и наново,
опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых.
И дальше
история наша
хмурá.
Я вижу
правлящих кучку.
Какие-то люди,
мутней, чем Курá,
Французов чмокают в ручку.

Двадцать,
а может
больше, веков
волок
угнетателей узы я,
чтоб только
под знаменем большевиков
воскресла
свободная Грузия.

Да,
я грузин,
но не старенькой нации,
забитой
в ущелье в это.

Я —
равный товарищ
одной Федерации
грядущего мира Советов.

Еще
омрачается
день иной
ужасом
крови и яри.

Мы бродим,
мы
еще
не вино,

ведь мы еще
только мадчари.

Я знаю:
глупость — эдемы и рай!

Но если
пелось про это,
должно быть

Грузию,
радостный край,
подразумевали поэты.

Я жду,
чтоб аэро
в горы взвилось.

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
 в поэтах
 истерика.
Я Терек не видел. Большая потеряйка.
Из омнибуса
 вразвалку
сошел,
 поплеывал
 в Терек с берега,
совал ему
 в пену
 палку.
Чего же хорошего? Полный развал!
Шумит,
 как Есенин в участке.
Как будто бы
 Терек
 организовал,
проездом в Боржом,
 Луначарский.
Хочу отвернуть
 заносчивый нос
и чувствую:
 стыну на грани я,
овладевает
 мною
 гипноз,
воды
 и пены игранье.

Вот башня,
 револьвером
 небу к виску,
разит
 красотою нетроганой.
Поди,
 подчини ее
 преду искусств —
Петру Семенычу
 Когану.
Стою,
 и злоба взяла меня,
что эту
 дикость и выступы
с такой бездарностью
 я
 променял
на славу,
 рецензии,
 диспуты.
Мне место
 не в «Красных нивах»,
 а здесь,
и не построчно,
 а даром
реветь
 стараться в голос во весь,
срывая
 струны гитарам.
Я знаю мой голос:
 паршивый тон,
но страшен
 силою ярой.
Кто видывал,
 не усомнится,
 что
я
 был бы услышан Тамарой.
Царица крепится,
 взвинчена хоть,
величественно
 делает пальчиком.

Но я ей
сразу: — А мне начхать,
царица вы
или прачка!
Тем более
с песен —
какой гонорар?!
А стирка —
в семью копейка.
А даром
немного дарит гора:
лишь воду —
поди,
попей-ка! —
Взъярилась царица,
к кинжалу рука.
Козой,
из берданки ударенной.
Но я ей
по-своему,
вы ж знаете как —
под-ручку...
любезно...
— Сударыня!
Чего кипятитесь,
как паровоз?
Мы
общей лирики лента.
Я знаю давно вас,
мне
много про вас
говаривал
некий Лермонтов.
Он клялся,
что страстью
и равных нет.
Таким мне
мерещился образ твой.

Любви я заждался,
мне 30 лет.
Полюбим друг друга!
Попросту.
Да так,
чтоб скала
распостелилась в пух.
От черта скраду
и от бога я!
Ну что тебе Демон?
Фантазия!
Дух!
К тому ж староват —
мифология.
Не кинь меня в пропасть,
будь добра.
От этой ли
струшу боли я?
Мне
даже
пиджак не жаль ободрать,
а грудь и бока —
тем более.
Отсюда
дашь
хороший удар —
и в Терек
замертво треснется.
В Москве
больнее спускают...
куда!
ступеньки считаешь —
лестница.
Я кончил,
и дело мое сторона.
И пусть,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак.
А мы...
соглашайся, Тамара!

История дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.
Сам Демон слетел,
подслушал
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена
Сияет —
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка!

1924

ВЫВОЛАКИВАЙТЕ БУДУЩЕЕ

Будущее
 не придет само,
если
 не примем мер.
За жабры его,— комсомол!
За хвост его,— пионер!
Коммуна
 не сказочная принцесса,
чтоб о ней
 мечтать по ночам.
Рассчитай,
 обдумай,
 нацелься —
и иди
 хоть по мелочам.
Коммунизм
 не только
у земли,
 у фабрик в поту.
Он и дома
 за столиком,
в отношениях,
 в семье,
 в быту.
Кто скрипит
 матершиной смачной
целый день,
 как немазанный воз,

тот,
кто млеет
под визг балалаечный,
тот
до будущего
не дорос.
По фронтам
пулеметами такать —
не в этом
одном
война!
И семей
и квартир атака
угрожает
не меньше
нам.
Кто не выдержал
натиск домашний,
спит
в уюте
бумажных роз,—
до грядущей
жизни мощной
тот
пока еще
не дорос.
Как и шуба
и время тоже —
проедает
быта моль ее.
Наших дней
залежалых одёжу
перетряхни, комсомолия!

ЕДУ

Билет —
 шелк.
 Щека —
 чмок.
Свисток, —
 и рванулись туда мы,
куда,
 как сельди
 в сети чулок,
плывут
 кругосветные дамы.
Сегодня приедет —
 уродом-урод,
а завтра —
 узнать посмейте-ка:
в одно
 разубран
 и город и рот —
помады,
 огней косметика.
Веселых
 тянет в эту вот даль.
В Париже грустить?
 Едва ли!
В Париже —
 площадь,
 и та — Этуаль ¹,

а звезды —
 так сплошь этуали!
Засвистывай,
 трись,
 врезайся и режь
сквозь Льежи
 и об Брюссели.
Но нож
 и Париж,
 и Брюссель,
 и Льеж
тому,
 кто, как я, обрусели.
Сейчас бы
 в сани
 с ногами —
в снегу,
 как в газетном листе б...
Свисти,
 заноси снегами
меня,
 прихерсонская степь...
— Вечер,
 поле,
 огоньки,
дальняя дорога,
сердце рвется от тоски,
а в груди
 тревога.
Эх, раз,
 еще раз,
стих в пляс.
Эх, раз,
 еще раз,
рифм хряск.
Эх, раз,
 еще раз,
еще много, много раз...

Люди
разных стран и рас,
копая порядков грядки,
увидев,
как я
себя протряс,
скажут:
в лихорадке.

1925

¹ Этуаль. — В Париже есть площадь Этуаль. Этуаль — по-французски звезда. Этуаль — первоклассная шантанная певица.

ГОРОД

Один Париж —
 адвокатов,
 казарм,
другой —
 без казарм и без Эррио.
Не оторвать
 от второго
 глаза —
от этого города серого.
Со стен обещают:
 «Un verre de Koto
donne de l'énergie» ¹.
Вином любви
 каким
 и кто
мою взбудоражит жизнь?
Может,
 критики
 знают лучше,
может,
 их
 и слушать надо.
Но кому я, к черту, попутчик?!
Ни души
 не шагает
 рядом.
Как раньше,
 свой
 раскачивай горб
впереди
 поэтовых арб —

неси
 один
 и радость,
 и скорбь,
 и прочий
 людской скорб.
 Мне скучно
 здесь
 одному
 впереди —
 поэту
 не надо многого, —
 пусть
 только
 время
 скорей родит
 такого, как я,
 быстроногого.
 Мы рядом
 пойдем
 дорожной пылью.
 Одно
 желанье
 пучит:
 мне скучно,
 желаю
 видеть в лицо,
 кому это
 я
 попутчик?!
 «Je suis un chateau»²,
 в плакате стоят
 литеры —
 каждая фут.
 Совершенно верно, —
 «je suis»
 это — «я»,
 а «chateau»
 это —
 «я верблюд».
 Лиловая туча,
 скорей нагнись,

меня
 и Париж полей,
 чтоб только
 скорей
 зацвели огни
 длиной
 Елисейских полей ³.
 Во всё огонь —
 и небу в темь,
 и в чернь промокшей пыли.
 В огне,
 жуками
 всех систем,
 жужжат
 автомобили.
 Горит вода,
 земля горит,
 горит
 асфальт
 до жжения,
 как будто
 зубрят
 фонари
 таблицу умножения.
 Площадь
 красивей
 и тысяч
 дам-болонок.
 Эта площадь
 оправдала б
 каждый город.
 Если б был я
 Вандомская колонна ⁴,
 я б женился
 на Place de la Concorde ⁵.

1925

¹ Un verre de Koto donne de l'énergie — реклама
 напитка: «Стакан Кото укрепляет энергию».

² Je suis un chameau — я верблюд.

³ Елисейские поля — улица в Париже.

⁴ Вандомская колонна — памятник в Париже.

⁵ Place de la Concorde — площадь Согласия.

NOTRE-DAME¹

Другие здания
 лежат,
 как грязная кора,
в воспоминании
 о Notre-Dame'e.
Прошедшего
 возвышенный корабль,
о время зацепившийся
 и севший на мель.
Раскрыли дверь —
 тоски тяжелей,
желе
 из железа —
 нелепее.
Прошли
 сквозь монаший
 служилый елей
в соборное великолепие.
Читал
 письмена,
 украшавшие храм,
про боговы блага
 на небе.
Спускался в партер,
 подымался к хорам,
смотрел удобства
 и мебель.
Я вышел —
 со мной
 переводчица-дура,

щебечет
 бантиком-ротиком:
 — Ну, как вам
 нравится архитектура?
 Какая небесная готика! —
 Я взвесил все
 и обдумал:
 — Ну, вот:
 он лучше Блаженного
 Васьки ².
 Конечно,
 под клуб не пойдет —
 темноват, —
 об этом не думали —
 классики...
 Не стиль...
 Я в этих делах не мастак.
 Не дался
 старью на съедение.
 Но то хорошо,
 что уже места
 готовы тебе
 для сидения.
 Его
 ни к чему
 перестраивать заново, —
 приладим
 с грехом пополам,
 а в наших —
 ни стульев нет,
 ни оргáнов.
 Копнёшь —
 одни купола.
 И лучше б оркестр,
 да игра дорогá, —
 сначала
 не будет финансов, —
 а то ли дело,
 когда оргán —
 играй
 хоть пять сеансов.

Ясно —
 репертуар иной —
фокстроты,
 а не сопенье. —
Нельзя же
 французскому госкино
духовные песнопения!
А для рекламы —
 не храм,
 а краса! —

Старайся
 во все тяжкие.
Электрорекламе —
 лучший фасад:
меж башен
 пустить перетяжки
да буквами разными:
 «Signe de Zoro» ³,
чтоб буквы бежали,
 как мышь.

Такая реклама
 так заорет,
что видно
 во весь Boulmiche ⁴.

А если
 и лампочки
 вставить в глаза
химерам
 в углах собора,
тогда —
 никто не уйдет назад:
подряд —
 битковые сборы!

Да надо
 быть
 бережливым тут,
ядром
 чего
 не попортив.

В особенности,
 если пойдут
громить
 префектуру
 напротив.

1925

¹ Notre-Dame — Собор парижской богородицы.

² Блаженный Василька — церковь Василия Блаженного в Москве.

³ Signe de Zoro — «Знак Зоро».

⁴ Boulmiche — бульвар в Париже.

ВЕРСАЛЬ

По этой
 дороге,
 спеша во дворец,
бесчисленные Людовики
трясли
 в шелках
 золоченых каретц
телес
 десятипудовики.
И, ляжек
 своих
 отмахав шатуны,
по ней,
 марсельезой пропет,
плюя на корону,
 теряя штаны,
бежал
 из Парижа
 Капет.
Теперь
 по ней
 веселый Париж
гоняет,
 авто рассияв...
Кокотки,
 рантье, подсчитавший барыш,
американцы
 и я.
Версаль.
 Возглас первый:

«Хорошо жили стервы!»

Дворцы

на тыщи спален и зал —

и в каждой

и стол

и кровать.

Таких

вторых

и построить нельзя, —

хоть целую жизнь

воровать!

А за дворцом,

и сюды

и туды,

чтоб жизнь им

была

свежа,

пруды,

фонтаны,

и снова пруды

с фонтаном

из медных жаб.

Вокруг,

в поощрение

жантильных манер,

дорожки

полны статуями —

езде Аполлоны,

а этих

Венер

безруких, —

так целые уймы.

А дальше —

жилья

для их Помпадурш —

Большой Трианон

и Маленький.

Вот тут

Помпадуршу

водили под душ,

вот тут

помпадуршины спаленки.

Сюда бы —
 стальной
 и стекольный
рабочий дворец
 миллионной вместимости, —
такой,
 чтоб и глазу больно.

Всем,
 еще имеющим
 купоны
 и монеты,
всем царям,
 еще имеющимся,
 в назидание —
с гильотины неба,
 головой Антуанетты,
солнце
 покатилось
 умирать на зданиях.
Расплылась
 и лип
 и каштанов толпа,
слегка
 листочки ворся.
Прозрачный
 вечерний
 небесный колпак
закрыл
 музейный Версаль.

1925

¹ Бенуа — русский художник.

² Антуанетта — Мария-Антуанетта, французская королева, казненная во время революции.

КАФЕ

Обыкновенно
мы говорим:
все дороги
приводят в Рим.
Не так
у монпарнасца ¹.
Готов поклясться —
и Рем,
и Ромул,
и Ремул и Ром
в «Ротонду» придут
или в «Дом» ².
В кафе
идут
по сотням дорог,
плывут
по бульварной реке.
Вплываю и я:
«Garçon,
un grog
américain!» ³
Сначала
слова
и губы
и скулы
кофейный гомон сливал.
Но вот
пошли
вылупляться из гула

и лепятся
 фразой
 слова:

— Тут
 проходил
 Маяковский давеча,
 хромой —
 не видали рази?

— А с кем он шел?
 — С Николай Николаичем.

— С каким?
 — Да с великим князем...

— С великим князем?
 Будет врать!

Он кругл
 и лыс,
 как ладонь...

Чекист он, —
 послан сюда
 взорвать...

— Кого?
 — Буа де Булонь...

Езжай, мол, Мишка... —
 Другой поправил:

— Вы врете,
 противно слушать —
 совсем и не Мишка он,
 а Павел.

Бывало, сядем:
 Павлуша,—
 а тут же
 его супруга,
 княжна,
 брюнетка,
 лет под тридцать...

— Чья?
 Маяковского?

 Он не женат.

— Женат,
 и на императрице.

ЖОРЕС

Ноябрь,
а народ
зажат до жары.
Стою
и смотрю долго:
на шинах машинных
мимо —
шары
катаются
в треуголках.
Войной обогранные
руки
умыв
и красные
шансы
взвесив,
коммерцию
новую
вбили в умы —
хотят
спекулировать на Жоресе.
Покажут рабочим —
«Смотрите,
и он
с великими нашими
тоже.

Жорес —
 настоящий француз.
 Пантеон ¹
 не станет же
 он
 тревожить».

Готовы
 потоки
 слезливых фраз.

Эскорт,
 колесница —
 эффект!

Ни с места!

 Скажите,
 кем из вас

в окне
 пристрелен
 Жорес?

Теперь
 пришли
 панихидами выть.

Зорче,
 рабочий класс!

Товарищ Жорес,
 не дай убить

себя
 во второй раз.

Не даст.
 Подняв
 знамен мачтовый лес,

спаяв
 людей
 в один

 плывущий флот,
 громовый и живой,
 попрежнему

 Жорес

проходит в Пантеон
 по улице Суфло.

Он в этих криках,
 несущихся вверх,

в знаменах,
 в шагах,
 в горбах:
«Vivent les Soviets!..
 А bas la guerre!..
Capitalisme à bas!..»¹
И вот —
 взбегает огонь,
 и горит,
и песня
 краснеет у рта.
И кажется —
 снова
 в дыму
 пушки
идут
 к парижским фортам.
Спиною
 к винтринам отжали,
 и вот
из книжек
 выжались
 тени.
И снова
 71-й год
встает
 у страниц в шелестении.
Гора
 на груди
 могла б подняться.
Там
 гневный окрик орет:
«Кто смел сказать,
 что мы
 в семнадцатом
предáли
 французский народ?!
Неправда,
 мы с вами,
 французские блузники.

Забудьте
 этот
 поклеп дрянной.
На всех баррикадах
 мы ваши союзники,
рабочий Крезо
 и рабочий Рено»³.

1925

¹ П а н т е о н — место погребения знаменитых французов.

² Да здравствуют Советы! Долой войну! Долой капитализм.

³ К р е з о, Р е н о — фабриканты.

ПРОЩАНИЕ

В авто,
 последний франк разменяв.
— В котором часу на Марсель? —
Париж
 бежит,
 провожая меня,
во всей
 невозможной красе.
Подступай
 к глазам,
 разлуки жижа,
сердце
 мне
 сентиментальностью расквасы!
Я хотел бы
 жить
 и умереть в Париже,
если б не было
 такой земли —
 Москва.

1925

6 МОНАХИНЬ

Воздев
 печеные
 картошки личек,
черней,
 чем негр,
 не выдавший бань,
шестеро благочестивейших католичек
влезло
 на борт
 парохода «Эспань».

И сзади
 и спереди
 ровней, чем веревка.

Шали,
 как с гвоздика,
 с плеч висят,
а лица
 обвила
 белейшая гофрировка,
как в пасху
 гофрируют
 ножки поросят.

Пусть заполнится годами
 жизни квота ¹ —
стоит
 только
 вспомнить это диво,

раздирает
 рот
 зевота
 шире Мексиканского залива.
 Трезвые,
 чистые,
 как раствор борной,
 вместе,
 эскадроном,
 салятся есть.
 Пообедав,
 сообща
 скрываются в уборной.
 Одна зевнула —
 зевают шесть.
 Вместо известных
 симметричных мест,
 где у женщин выпуклость —
 у этих
 выем:
 в одной выемке —
 серебряный крест,
 в другой — медали
 со Львом
 и с Пием.
 Продрав глазенки
 раньше, чем можно, —
 в раю
 (ужо!)
 отоспятся лишек, —
 оркестром без дирижера
 шесть дорожных
 вынимают
 евангелишек.
 Придешь ночью —
 сидят и бормочут.
 Рассвет в розы —
 бормочут, стервозы!

И днем,
 и ночью,
 и в утра,
 и в полдни
 сидят
 и бормочут
 дуры господни.
 Если ж
 день
 чуть-чуть
 помрачнеет с виду,
 сойдут в кабину,
 12 галош
 наденут вместе
 и снова выйдут,
 и снова
 идет
 елейный скулёж.

Мне б
 язык испанский!
 Я б спросил, взъяренный:
 — Ангеліцы,
 попросту
 ответ поэту дайте —
 если
 люди вы,
 то кто ж
 тогда
 воробы?

А если
 вы воробы,
 то почему вы не летаете?—
 Агитпропщики,
 не лезьте вон из кожи!

Весь
 земной
 обревизуйте шар,—
 самый
 замечательный безбожник
 не придумает
 кощунственное шарж!

Радуйся,
 распятый Иисусе,
не слезай
 с гвоздей
 своей доски,
а вторично явишься —
 с ю д а
 не суйся —
всё равно:
 повесишься с тоски!

26/VI — *Атлантический океан*
1925

¹ К в о т а — норма впуска эмигрантов в Америку.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Испанский камень
 слепящ и бел,
а стены —
 зубьями пил.
Пароход
 до двенадцати
 уголь ел
и пресную воду пил.
Повел
 пароход
 окованным носом
и в час,
сопя,
 вобрал якоря
 и понесся.
Европа
 скрылась, мельчась.
Бегут
 по бортам
 водяные глыбы,
огромные,
 как года.
Надо мною птицы,
 подо мною рыбы,
а кругом —
 вода.
Недели
 грудью своей атлетической —
то работяга,
 то в стельку пьян —
вздыхает
 и гремит
 Атлантический
океан.

«Мне бы, братцы,
 к Сахаре подобраться...
 Развернись и плюнь —
 пароход внизу.
 Хочу топлю,
 хочу везу.
 Выходи сухой —
 сварю ухой.
 Людей не надо нам —
 малы к обеду.
 Не трону,
 ладно,
 пускай едут...»
 Волны
 будоражить мастера: —
 детство выплеснут;
 другому —
 голос милой.
 Ну, а мне б
 опять
 знамена простирасть.
 Вон пошлѐ,
 затарактелѐ,
 загромило.
 И снова
 вода
 присмирела сквозная,
 и нет
 никаких сомнений ни в ком.
 И вдруг
 откуда-то —
 черт его знает! —
 встает
 из глубин
 воднячий Ревком.
 И гвардия капель —
 воды партизаны —
 взбираются
 ввысь
 с океанского рва,
 до неба метнутся
 и падают заново,

порфиру пены в клочки изодрав.
 И снова спаялись воды в одно,
 волне повелев разбурлиться вождем,
 и прет волнища с-под тучи на дно —
 приказы и лозунги сыплет дождем.
 И волны клянутся всеводному Циклу
 оружие бурь до победы не класть.
 И вот победили — экватору в циркуль
 Советов капель бескрайняя власть.
 Последних волн небольшие митинги
 шумят о чем-то в возвышенном стиле,
 и вот океан улыбнулся умытенький
 и замер на время в покое и в штиле.
 Смотрю за перила. Старайтесь, приятели!
 Под трапом, нависшим ажурным мостком,
 при океанском предприятии потеет
 над чем-то волновий местком.
 И под водой деловито и тихо

дворцом
растет
кораллов плетенка,
чтоб легче жилось
трудовой китихе
с рабочим китом
и дошкольным китенком.
Уже
и луну
положили дорожкой,
хоть прямо
на пузе,
как по́суху, лазь.
Но враг не сунется —
в небо
сторожко
глядит,
не сморгнув,
Атлантический глаз.
То стынешь
в блеске лунного лака,
то стонешь,
облитый пеною ран.
Смотрю,
смотрю —
и всегда одинаков,
любим,
близок мне океан.
Вовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокинуть рад.
По шири,
по делу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.

1925

БЛЕК ЭНД УАЙТ¹

Если
Гаванну
окинуть мигом —
рай-страна,
страна что надо.
Под пальмой
на ножке
стоят фламинго.
Цветет
колларио²
по всей Ведадо³.
В Гаванне
все
разграничено четко:
у белых доллары,
у черных — нет.
Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
у «Энри Клей энд Бок, лимитейд».
Много
за жизнь
повымел Вилли —
одних пылинок
целый лес, —
поэтому
волос у Вилли
вылез,
поэтому
живот у Вилли
влез.

Мал его радостей тусклый спектр:
 шесть часов поспать на боку,
 да разве что
 вор,
 портовой инспектор,
 кинет
 негру
 цент на бегу.
 От этой грязи скроешься разве?
 Разве что
 стали б
 ходить на голове.
 И то
 намели бы
 больше грязи:
 волосьев тыщи,
 а ног —
 две.
 Рядом
 шла
 нарядная Прадо ⁴.
 То звякнет,
 то вспыхнет
 трехверстный джаз.
 Дурню покажется,
 что и взаправду
 бывший рай
 в Гаванне как раз.
 В мозгу у Вилли
 мало извилин,
 мало всходов,
 мало посева.
 Одно
 единственное
 вызубрил Вилли
 тверже,
 чем камень
 памятника Масео:
 «Белый
 ест
 ананас спелый,

черный —
 гнилью моченый.
 Белую работу
 делает белый,
 черную работу —
 черный».

Мало вопросов Вилли сверлили.
 Но один был
 закорюка из закорюк.

И когда
 вопрос этот
 влезал в Вилли,
 щетка
 падала
 из Виллиных рук.

И надо же случиться,
 чтоб как раз тогда
 к королю сигарному
 Энри Клей
 пришел,
 белей, чем облаков стада,
 величественнейший их сахарных королей.

Негр
 подходит
 к туше дебелой:
 «Ай бэг ёр пáрдон ⁵, мистер Брэгг!
 Почему и сахар,
 белый-белый,
 должен делать
 черный негр?

Черная сигара
 не идет в усах вам,—
 она для негра
 с черными усами.

А если вы
 любите
 кофий с сахаром,
 то сахар
 извольте
 делать сами».

Такой вопрос
 не проходит даром.

Король
 из белого
 становится желт.
 Вывернулся
 король
 сообразно с ударом,
 выбросил обе перчатки
 и ушел.
 Цвели
 кругом
 чудеса ботаники.
 Бананы
 сплетали
 сплошной кров.
 Вытер
 негр
 о белые подштанники
 руку,
 с носа утершую кровь.
 Негр
 посопел подбитым носом,
 поднял щетку,
 держась за скулу.
 Откуда знать ему,
 что с таким вопросом
 надо обращаться
 в Коминтерн,
 в Москву?

5/VII — Гаванна
 1925

¹ Б л е к э н д у а й т — черное и белое.

² К о л л а р и о — гаванские цветы.

³ В е д а д о — загородный квартал богачей.

⁴ П р а д о — главная улица Гаванны.

⁵ А й б э г ё р п á р д о н — прощу прощения.

МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ
НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ

Превращусь
 не в Толстого, так в толстого, —
ем,
 пишу,
 от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.

Вчера
 океан был злой,
 как черт,
сегодня
 смирней
 голубицы на яйцах.
Какая разница!
 Все течет...
Все меняется.

Есть
 у воды
 своя пора:
часы прилива,
 часы отлива.
А у Стеклова
 вода
 не сходила с пера.
Несправедливо.

Дохлая рыбка
 плывет одна.
Висят
 плавнички,
 как подбитые крылышки.
Плывет недели,
 и нет ей —
 ни дна,
ни покрышки.

Навстречу,
 медленней, чем тело тюленье,
пароход из Мексики,
 а мы —
 туда.
Иначе и нельзя.
 Разделение
труда.

Это кит — говорят.
 Возможно и так.
Вроде рыбьего Бедного —
 обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу,
 а у кита
внутри.

Годы — чайки.
 Вылетят в ряд —
и в воду —
 брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
 В сущности говоря,
где птички?

Я родился,
 рос,
 кормили соскою,—

жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

3/VII — Атлантический океан
1925

БРОДВЕЙ

Асфальт — стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки —
сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
на запад с востока —
стриты.
А между —
(куда их строитель завез!) —
дома
невозможной длины.
Одни дома
длиною до звезд,
другие —
длиной до луны.
Янки
подошвами шлепать
ленив:
простой
и курьерский лифт.
В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов —
отлив.
Скрежещет механика,
звон и гам,
а люди
немые в звоне.

из тьмы
 по темени:
 «Кофе Максвел
 гуд
 ту ди ласт дроп»⁶.
 А лампы
 как станут
 ночь копать,
 ну, я доложу вам —
 пламечко!
 Налево посмотришь —
 мамочка мать!
 Направо —
 мать моя мамочка!
 Есть что поглядеть московской братве.
 И за день
 в конец не дойдут.
 Это Нью-Йорк.
 Это Бродвей.
 Гау ду ю ду!⁷
 Я в восторге
 от Нью-Йорка города.
 Но
 кепчонку
 не сдеру с виска.
 У советских
 собственная гордость:
 на буржуев
 смотрим свысока.

6 августа — Нью-Йорк
 1925

¹ Ч у н и н г в а м — жвачка, которую жует вся Америка.

² М е к м о н е й — делаешь деньги — вместо привета.

³ Б и з н е с — дело.

⁴ С о б в е й — подземная городская железная дорога.

⁵ Э л е в е й т е р — воздушная городская железная дорога.

⁶ Реклама Нью-Йорка: «Кофе Максвел хорош до последней капли».

⁷ Г а у д у ю д у — американское приветствие.

БАРЫШНЯ И ВУЛЬВОРТ

Бродвей сдурел.
Бегня и гўллево.

Дома
с небес обрываются

Но даже меж ними
заметишь Вульворт.

Но даже меж ними
заметишь Вульворт.

Сверху
разведывают

в средних
тайпистки ¹

в средних
тайпистки ¹

А в самом нижнем — «Дрогс сода,

А в самом нижнем — «Дрогс сода,

А в окошке мисс семнадцати лет

А в окошке мисс семнадцати лет

Ржавые лезвия
фирмы «Жиллет»

Ржавые лезвия
фирмы «Жиллет»

И гладит
и водит

И гладит
и водит

236

Хотя
усов
и не полагается ей,
но водит
по губке,
усы возомня, —
дескать —
готово,
наточил и брей.
Наточит один
до сияния лучика
и новый ржавый
берет для возни.
Наточит,
вынет
и сделает ручкой.
Дескать —
зайди,
купи,
возьми.
Буржуем не сделаешься с бритвенной точки.
Бегут без бород
и без выражений на лице.
Богатств буржуйских особые источники:
работай на доллар,
а выдадут цент.
У меня ни усов,
ни долларов,
ни шевелюр, —
и в горле
застревают
английского огрызки.
Но я подхожу
и губми шевелю —
как будто
через стекло
разговариваю по-английски:
«Сидишь,
глазами буржуев охлопана.
Чем обнадежена?
Дура из дур».

А девушке слышится:
 «Опен,
 óпен ди дор» ³.
 «Что тебе заботиться
 о чужих усах?»
 Вот...
 посадили...
 как дуру еловую».

А у девушки
 фантазия раздувает паруса,
 и слышится девушке:
 «Ай лов ю» ⁴.

Я злею:
 «Выйдь,
 окно разломай, —
 а бритвы раздай
 для жирных горл».

Девушке мнится:
 «Май,
 май гóрл» ⁵.
 Выходит
 фантазия из рамок и мерок, —
 и я
 кажусь
 красивый и толстый.

И чудится девушке —
 влюбленный клерк
 на ней
 жениться
 приходит с Вóлстрит ⁶.

И верит мисс,
 от счастья дрожа,
 что я —
 долларовый воротила,
 что ей
 уже
 в других этажах
 готовы бесплатно
 и стол
 и квартира.

Как врезать ей
 в голову
 мысли-ножи,
что русским известно другое средство,
как влезть рабочим
 во все этажи
без грез,
 без свадеб,
 без жданий наследства.

1925

¹ Тай пистки — машинистки

² «Великая и знаменитая национальная компания шипучих напитков» — название парфюмерного магазина, при котором всегда имеется стойка для питья вод и еды мороженого.

³ Опен, опен ди дор — откройте, откройте дверь.

⁴ Ай лов ю — я люблю вас.

⁵ Май гёрл — моя девочка.

⁶ Вол стрит — улица банков в Нью-Йорке.

НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ

Возьми
разбольшущий дом в Нью-Йорке,
взгляни
насквозь на здание на то.
Увидишь
старейшие норки да каморки —
совсем дооктябрьский
Елец аль Конотоп.
Первый —
ювелиры,
караул бессменный,
замок
зацепился ставням о бровь.
В сером
герои кино,
полисмены,
лягут
собаками
за чужое добро.
Третий —
спят бюро-конторы.
Есть
промакашки
рабий пот.
Чтоб мир
не забыл,
хозяин который,

на вывесках
 золотом
 «Вильям Шпрот».

Пятый.
 Подсчитав
 приданные сорочки,
мисс
 перезрелая
 в мечте о женихах.

Вздымая грудью
 ажурные строчки,
почесывает
 пышных подмышек меха.

Седьмой.
 Над очагом
 домашним
 высясь,
силы сберёгши
 спортом смолоду,

сэр
 своей законной миссис,
узнав об измене,
 кровавит морду.

Десятый.
 Медовый.
 Пара легла.

Счастливей,
 чем Ева с Адамом были.

Читают
 в «Таймсе»
 отдел реклам:
«Продажа в рассрочку автомобилей».

Тридцатый.
 Акционеры
 сидят увлечены,
делят миллиарды,
 жадны и озабочены.

Прибыль
 треста
 «Изготовление ветчины

из лучшей
дохлой
чикагской собачины».
Сороковой.
У спальни
опереточной дивы.
В скважину
замочную,
сосредоточив прыть,
чтоб Кулидж дал развод,
детективы
мужа
должны
в кровати накрыть.
Свободный художник,
рисующий задóчки,
дремлет в девяностом,
думает одно:
как бы ухажнуть
за хозяйской дочкой —
да так,
чтоб хозяину
всучить полотно.
А с крыши стоял
скатертный снег.
Лишь ест
в ресторанной выси
большие крохи
уборщик негр,
а маленькие крошки —
крысы.
Я смотрю,
и злость меня берет
на укрывшихся
за каменный фасад.
Я стремился
за 7 000 верст вперед,
А приехал
на 7 лет назад.

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Издай, Кулидж,
радостный клич!
На хорошее

и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего материйка,
хоть вы
и разъюнайтед стетс
сф

Америка.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скит
удаляется,
строг и прост,—

так я
в вечерней
сереющей мерещи
вхожу,
смиранный, на Бруклинский мост.

Как в город
в сломанный
прет победитель
на пушках — жерлом
жирафу под рост —
так, пьяный славой,
так жить в аппетите,

влезаю,
гордый, на Бруклинский мост.
Как глупый художник в мадонну музея
вонзает глаз свой, влюблен и остр,
так я, с поднебесья, в звезды усеян,
смотрю на Нью-Йорк
сквозь Бруклинский мост.
Нью-Йорк до вечера тяжек
и душен,
забыл, что тяжко ему
и высоко,
и только одни домовьи души
встают в прозрачном свечении окон.
Здесь еле зудит
элевейтеров зуд.
И только по этому тихому зуду
поймешь — поезда
с дребезжаньем ползут,
как будто в буфет убирают посуду.
Когда ж, казалось, с-под речки на́чатой
развозит с фабрики
сахар лавочник,—

то
под мостом проходящие мачты
размером
не больше размеров булавочных.
Я горд
вот этой
стальной милей,
живьем в ней
мои видения встали —
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.
Если
придет
окончание света —
планету
хаос
разделает в лоск,
и только
один останется
этот
под пылью гибели вздыбленный мост,
то,
как из косточек
тоньше иглол,
тучнеют
в музеях стоящие
ящеры,
так
с этим мостом
столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дни настоящие.
Он скажет:
— Вот эта
стальная лапа
соединяла
моря и прерии,

отсюда
Европа
рвалась на Запад,
пустив
по ветру
индейские перья.
Напомнит
машину
ребро вот это —
сообразите,
хватит рук ли,
чтоб, став
стальной ногой
на Мангёттен,
к себе
за губу
притягивать Бруклин?
По проводам
электрической пряди —
я знаю —
эпоха
после пара.
Здесь
люди
уже
орали по радио,
здесь
люди
уже
взлетели по аэро.
Здесь
жизнь
была
одним — беззаботная,
другим —
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзён
кидались
вниз головой.

И дальше
картина моя
без загвоздки
по струнам-канатам,
аж звездам к ногам.

Я вижу —
здесь
стоял Маяковский,—
стоял
и стихи слагал по слогам.

Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо вливается клещ.
Бруклинский мост —
да...
Это вещь!

1925

ПОРЯДОЧНЫЙ ГРАЖДАНИН

Если глаз твой врага не видит,
пыл твой выпили нэп и торг,
если ты отвык ненавидеть,—
приезжай сюда,
в Нью-Йорк.
Чтобы, в мили улиц опутан,
в боли игл фонарных ежей,
ты прошел бы со мной
лилипутом
у подножия
их этажей.
Видишь —
вон
выгребают мусор —
на обедах
с детьми пронянчиться,
чтоб в авто,
обгоняя «бусы»¹,
ко дворцам
неслись бриллиантщицы.
Загляни
в окошки в эти —
здесь
наряд им вышили княжий.

Только
 сталью глушит элевейтер
 хрип
 и кашель
 чахотки портняжей.
 А хозяин —
 липкий студень —
 с мордой,
 вспухшей на радость чирю,
 у работницы
 щупает груди:
 «Кто понравится,—
 удочерю!
 Двести дам
 (если сотни мало),
 грусть
 сгоню
 навсегда с очей!
 Будет
 жизнь твоя —
 Куни-Айланд ²,
 луна-парк
 в миллиард свечей».

Уведет —
 а назавтра
 зверья,
 волчья банда
 бесполох старух
 проститутку —
 в смолу и в перья,
 и опять
 в смолу и в пух.

А хозяин
 в отеле Плаза,
 через рюмку
 и с богом сблизясь,
 закатил
 в поднебесье глазки:
 «Сёнк'ю ³
 за хороший бизнес!»
 Успокойтесь,
 вне опасения

КЕМП «НИТ ГЕДАЙГЕ»¹

Запретить совсем бы
ночи-негодяйке
выпускать
из пасти
столько звездных жал.
Я лежу,—
палатка
в Кемпе «Нит гедайге».
Не по мне все это.
Некчему...
и жаль...
Взвоят
и замрут сирены над Гудзоном,
будто бы решают:
выть или не выть?
Лучше бы не выли.
Пассажирам сонным
надо просыпаться,
думать,
есть,
любить...
Прямо
перед мордой
пролетает вечность —
бесконечночасый распустила хвост.
Были б все одеты,
и в белье, конечно,
если б время
ткало
не часы,
а холст.

Тоже...
 без домов
 не проживете очень
 на одном
 таком
 возвышенном мосту.
 В мире социальном
 те же непорядки:
 три доллара за день,
 на —
 и отвяжись.
 А у Форда сколько?
 Что играть в прятки!
 Ну, скажите, Кулидж, —
 разве это жизнь?
 Много ль
 человеку
 (даже Форду)
 надо?
 Форд
 в миллионах фордов,
 сам же Форд —
 в аршин.
 Мистер Форд,
 для вашего,
 для высохшего зада
 разве мало
 двух
 просторнейших машин?
 Лишек —
 в М. К. Х.
 Повесим ваш портретик.
 Монумент
 и то бы
 вылепили с вас.
 Кланылись бы детки,
 вас
 случайно встретив.
 Мистер Форд —
 отдайте!
 Даст он...
 Черта с два!

За палаткой
мир
лежит, угрюм и темен.
Вдруг
ракетой сон
звенит в унынье в это:
«Мы смело в бой пойдем
за власть Советов...»
Ну, и сон приснит вам
полночь-негодяйка!
Только сон ли это?
Слишком громок сон.
Это
комсомольцы
Кемпа «Нит гедайге»
песней
заставляют
плыть в Москву Гудзон.

20/IX — Нью-Йорк
1925

¹ К е м п — лагерь (англ.). «Н и т г е д а й г е» — «Не унывай» (еврейск.). Название летнего рабочего поселка, организованного под Нью-Йорком еврейской комгазетой «Фрайгайт».

ДОМОЙ

Уходите, мысли, восвояси.

Обнимись,

души и моря глубь.

Тот,

кто постоянно ясен,—

тот,

по-моему,

просто глуп.

Я в худшей каюте

из всех кают —

всю ночь надо мною

ногами куют.

Всю ночь,

покой потолка возмутив,

несется танец,

стонет мотив:

«Маркита,

Маркита,

Маркита моя,

зачем ты,

Маркита,

не любишь меня...»

А зачем

любить меня Марките?!
У меня

и франков даже нет.

А Маркиту

(толечко моргните!)

за сто франков

препроводят в кабинет.

Небольшие деньги —
поживи для шику —
нет,
интеллигент,
взбивая грязь вихров,
будешь всучивать ей
швейную машинку,
по стежкам
строчащую
шелка стихов.

Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил,—
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Все равно —
сослался сам я
или послан к маме —
слов ржавеет сталь,
чернеет баса медь.

Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?

Вот лежу,
уехавший за воды,
ленью
еле двигаю
моей машины части.

Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.

Не хочу,
 чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
 после служебных тягот.
Я хочу,
 чтоб в дебатах
 потел Госплан,
мне давая
 задания на́ год.
Я хочу,
 чтоб над мыслью
 времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
 чтоб сверх-ставками спéца
получало
 любовищу сердце.
Я хочу,
 чтоб в конце работы
 завком
запирал мои губы
 замком.
Я хочу,
 чтоб к штыку
 приравняли перо
С чугуном чтоб
 и с выделкой стали
о работе стихов,
 от Политбюро,
чтобы делал
 доклады Сталин.
«Так, мол,
 и так...
 И до самых верхов
прошли
 из рабочих нор мы:
в Союзе
 Республик
 пониманье стихов
выше
 довоенной нормы...»
1925

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство.

Спасибо...
не тревожьтесь...
я постою...

У меня к вам
дело
деликатного свойства:

о месте
поэта
в рабочем строю.

В ряду
имеющих
лабазы и уголья

и я обложен
и должен караться.

Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие
и двадцать пять
за неподачу деклараций.

Труд мой
любому
труду
родствен.

Взгляните —
сколько я потерял,

какие
издержки
в моем производстве

и сколько тратится
 на материал.
 Вам,
 конечно, известно
 явление «рифмы».
 Скажем,
 строчка
 окончилась словом
 «отца»,
 и тогда
 через строчку,
 слога повторив, мы
 ставим
 какие-нибудь
 «л а м ц а д р и ц а-ц а».
 Говоря по-вашему,
 рифма —
 вексель.
 Учсть через строчку! —
 вот распоряжение.
 И ищешь
 мелочишку суффиксов и флексий
 в пустующей кассе
 склонений
 и спряжений.
 Начнешь это
 слово
 в строчку всовывать,
 а оно не лезет —
 нажал и сломал.
 Гражданин фининспектор,
 честное слово,
 поэту
 в копеечку влетают слова.
 Говоря по-нашему,
 рифма —
 бочка.
 Бочка с динамитом.
 Строчка —
 фитиль.
 Строка додымит,
 взрывается строчка,—

и город
на воздух
строфой летит.
Где найдешь,
на какой тариф,
рифмы,
чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
пяток
небывалых рифм
только и остался
что в Венецуэле.
И тянет
меня
в холода и в зной.
Бросаюсь,
опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
учтите билет проездной!
— Поэзия
— вся! —
езда в незнаемое.
Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь,
единого слова ради,
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.

Конечно,
 различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
 легкость руки!
Тянет,
 как фокусник,
 строчку изо рта
и у себя
 и у других.
Что говорить
 о лирических кастратах?
Строчку
 чужую
 вставит и рад.
Это
 обычное
 воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
 сегодня
 стихи и оды,
в аплодисментах
 ревомяе ревя,
войдут
 в историю
 как накладные расходы
на сделанное
 нами —
 двумя или тремя.
Пуд,
 как говорится,
 соли столовой
съешь
 и сотней папирос клуби,
чтобы
 добыть
 драгоценное слово
из артезианских
 людских глубин.
И сразу
 ниже
 налога рост.

Скиньте
с обложенья
нуля колесо!
Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.
В вашей анкете
вопросов масса:
— Были выезды?
Или выездов нет? —
А что,
если я
десяток пегасов
загнал
за последние
15 лет?!
У вас —
в мое положение войдите —
про слуг
и имущество
с этого угла.
А что,
если я
народа водитель
и одновременно —
народный слуга?
Класс
гласит
из слова из нашего,
а мы,
пролетарии,
двигатели пера.
Машину
души
с годами изнашиваешь.
Говорят:
— в архив,
исписался,
пора! —

Все меньше любитя,
и лоб мой все меньше дерзается,
 время
 с разбега крушит.
Приходит
 страшнейшая из амортизаций —
амортизация
 сердца и души.
И когда
 это солнце,
 разжиревшим боровом,
взойдет
 над грядущим
 без нищих и калек,—
я
уже
 сгнию,
 умёрший под забором,
рядом
 с десятком
 моих коллег.
Подведите
 мой
 посмертный баланс!
Я утверждаю
 и — знаю — не налгу:
на фоне
 сегодняшних
 дельцов и пролаз
я буду
 — один! —
 в непролазном долгу.
Долг наш —
 реветь
 медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
 у бурь в кипеньи.
Поэт
 всегда
 должник вселенной,

платящий
на горе
проценты
и пени.

Я
в долгу
перед бродвейской лампионией,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.

А зачем
вообще
эта шапка Сене?
Чтобы — целься рифмой
и ритмом ярьсь?

Слово поэта —
ваше воскресенье,
ваше бессмертие,
гражданин канцелярист.
Через столетья
в бумажной раме
возьми строку
и время верни!

И встанет
день этот
с фининспекторами,
с блеском чудес
и с вонью чернил.
Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте

в Энкапеез
на бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработок мой
на триста лет.

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,
 как говорится,
 в мир иной.
Пустота...
 Летите,
 в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
 ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
 это
 не насмешка,—
в горле
 горе комом,
 не смешок.
Вижу —
 врезанной рукой помешкав,
собственных
 костей
 качаете мешок.
Прекратите,
 бросьте!
 Вы в своем уме ли?
Дать,
 чтоб щеки
 заливал
 смертельный мел?
Вы ж
 такое загибать умели,

что другой
 на свете
 не умел.
 Почему,
 зачем?
 Недоуменье смяло.
 Критики бормочут:
 — Этому вина
 то да сё,
 а главное,
 что смычки мало,
 в результате
 много пива и вина.—
 Дескать,
 заменить бы вам
 богему
 классом,
 класс влиял на вас,
 и было б не до драк.
 Ну, а класс-то
 жажду
 заливает квасом?
 Класс — он тоже
 выпить не дурак.
 Дескать,
 к вам приставить бы
 кого из напостов,—
 стали б
 содержанием
 премного одарённой:
 вы бы
 в день
 писали
 строк по сто,
 утомительно
 и длинно,
 как Доронин.
 А по-моему,
 осуществись
 такая бредь,
 на себя бы
 раньше наложили руки.

Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!
Навсегда
теперь
язык
в зубах затворится.
Тяжело
и неуместно
разводить мистерии.
У народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
И несут
стихов заупокойный лом,

с прошлых
с похорон
не переделавши почти.

В холм
тупые рифмы
загонять колом,—
разве так
поэта
надо бы почитать?

Вам
и памятник еще не слит,—
где он,
бронзы звон
или гранита грань? —
а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.

Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой —
«Ни слова, о друг мой,
ни вздо-о-о-ха».

Эх,
поговорить бы иначе
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
— Не позволю
мямлить стих
и мять! —
Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу маты!

Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,

чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.

Дела много —
только поспевать.

сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.

где,
когда,
какой великий выбирал
путь,
чтобы протоптанней
и легче?

Марш!
Чтоб время
сзади
ядрами рвалось.

К старым дням
чтоб ветром
относило
только путаницу волос.
Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

1926

МАРКСИЗМ—ОРУЖИЕ,
ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ МЕТОД.
ПРИМЕНЯЙ УМЕЮЧИ
МЕТОД ЭТОТ!

Штыками
двух столетий стык
закрепляет
рабочая рать.
А некоторые
употребляют штык,
чтоб им
в зубах ковырять.
Все хорошо:
поэт поет,
критик
занимается критикой.
У стихотворца —
корытце свое,
у критика—
свое корытико.
Но есть
не имеющие ничего,
окромя
красивого почерка.
А лезут
в книгу,
хваля
и грома
из пушки
критического очерка.

А чтоб
имелось
научное лицо
у этого
вздора злопыханного,—
всегда
на столе
покрытый пылью
неразрезанный том
Плеханова.
Зазубрит фразу
(ишь, ребята!)
и ходит за ней,
как за няней.
Быть —
а у этого — еда и питье
определяет сознание.
Перелистывая
авторов
на букву «эл»,
фамилию
Лермонтова
встретя,
критик выясняет,
что он ел
на первое
и что — на третье.
— Шампанское пил?
Выпивал, допустим.
Налет буржуазный густ.
А его
любовь
к маринованной капусте
доказывает
помещичий вкус.
В Лермонтове, например,
чтоб далеко не идти,
смысла
не больше,
чем огурцов в акации.

Целые
 хоры
 небесных светил,
 и ни слова
 об электрификации.
 Но,
 очищая ядро
 от фразерских корок,
 бобы —
 от шелухи лиризма,
 признаю,
 что Лермонтов
 близок и дорог
 как первый
 обличитель либерализма.
 Массам ясно,
 как ни хитри,
 что, милюковски юля,
 светила
 у Лермонтова
 ходят без ветрил,
 а некоторые —
 и без руля.
 Но так ли
 разрабатывать
 важнейшую из тем?
 Индивидуализмом пичкать?
 Демоны в ад,
 а духи —
 в эдем?
 А где, я вас спрашиваю, смычка?
 Довольно
 этих
 божественных легенд!
 Любою строчкой вырванной
 Лермонтов
 доказывает,
 что он —
 интеллигент,
 к тому же
 деклассированный!

То ли дело наш Степа,
 — забыл, к сожалению,
 фамилию и отчество,—
 у него
 в стихах
 Коминтерна топот!..
 Вот это —
 настоящее творчество!
 Степа
 кирпич
 какого-то здания,
 не ему
 разговаривать вкось и вкривь.
 Степа
 творит,
 не затемняя сознания,
 без волокиты аллитераций
 и рифм.
 У Степы
 незнание
 точек и запятых
 заменяет
 инстинктивный
 массовый разум,
 потому что
 батрачка —
 мамаша их,
 а папаша —
 рабочий и крестьянин сразу.—
 В результате
 вещь
 ясней помидора
 обволакивается
 туманом сизым,
 и эти
 горы
 нехитрого вздора
 некоторые
 называют марксизмом.

Не говорят
о веревке
в журнале повешенного,
не изменить
шаблона прилежного.
Лежнев зарадуется —
«он про Вешнева».
Вешнев —
«он про Лежнева»,

1926

ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,
 позвольте
 без позы,
 без маски,
как старший товарищ,
 неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
 товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
 товарищ Уткин.
Мы спорим,
 аж глотки просят лужения,
мы
 задыхаемся
 от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
 деловое предложение—
давайте
 устроим
 веселый обед!
Расстелим внизу
 комплименты ковровые,
если зуб на кого —
 отпилим зуб;
розданные
 Луначарским
 венки лавровые
сложим
 в общий
 товарищеский суп.

Решим,
 что все
 по-своему правы.
Каждый поет
 по своему
 голоску!
Разрежем
 общую курицу славы
и каждому
 выдадим
 по равному куску.
Бросим
 друг другу
 шпильки подсовывать,
разведем
 изысканный
 словесный ажур.
А когда мне
 товарищи
 предоставят слово —
я это слово возьму
 и скажу:
— Я кажусь вам
 академиком
 с большим задом,
один, мол, я
 жрец
 поэзий непролазных.
А мне
 в действительности
 единственное надо —
чтоб больше поэтов
 хороших
 и разных.
Многие
 пользуются
 напостовской тряскою;
с тем
 чтоб себя
 обозвать получше.

— Мы, мол, единственные,
мы пролетарские...—

А я, по-вашему, что —
валютчик?

Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии нудовой.

Засучу рукавчики:
работать?
драться?

Сделай одолжение,
а ну, давай!

Есть
перед нами
огромная работа,—
каждому человеку
нужное стихачество.

Давайте работать
до седьмого пота
над поднятием количества,
над улучшением качества.

Я меряю
по коммуне
стихов сорта,
в коммуну
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.

А в поэзии
нет
ни друзей,
ни родных,—

по протекции
 не свяжешь
 рифм лычки.
Оставим
 распределение
 орденов и наградных,
бросим, товарищи,
 наклеивать ярлычки.
Не хочу
 похвастать
 мыслью новенькой,
но по-моему —
 утверждаю без авторской спеси —
коммуна —
 это место,
 где исчезнут чиновники
и где будет
 много
 стихов и песен.
Стоит
 изумиться
 рифмочек парой нам —
мы
 почитаем поэта гением,
одного
 называют
 красным Байроном,
другого —
 самым красным Гейнем.
Одного боюсь —
 за вас, и сам, —
чтоб не обмелели
 наши души,
чтоб мы
 не возвели
 в коммунистический сан
плоскость раешников
 и ерунду частушек.
Мы духом одно,
 понимаете сами:
по линии сердца
 нет раздела.

Если
 вы не за нас,
 а мы
 не с вами,
то черта ль
 нам
 остается делать?
А если я
 вас
 когда-нибудь крою
и на вас
 замахивается
 перо-рука,
то я, как говорится,
 добыл это кровью,
я
 больше вашего
 рифмы строгал.
Товарищи,
 бросим
 замашки торгашьи
— моя, мол, поэзия —
 мой лабаз! —
все, что я сделал,
 все это ваше —
рифмы,
 темы,
 дикция,
 бас!
Что может быть
 капризной славы
 и пепельней?
В гроб, что ли,
 братъ,
 когда умру?
Наплевать мне, товарищи,
 в высшей степени
на деньги,
 на славу
 и на прочую муру!

Чем нам
 делить
 поэтическую власть,
сгрудим
 нежность слов
 и слова-бичи,
и давайте
 без завистей
 и без фамилий
 класть
в коммунову стройку
 слова-кирпичи.
Давайте,
 товарищи,
 шагать в ногу.
Нам не надо
 брюзжащего
 лысого парика!
А ругаться захочется —
 врагов много
по другую сторону
 красных баррикад.

1926

АНГЛИЙСКОМУ РАБОЧЕМУ

Вокзал оцепенел,
онемевает док.
Посты полиции
заводчикам в угоду.
От каждой буквы
замиранья холодок,
как в первый день
семнадцатого года.
Радио
стальные шеи своротили.
Слушают.
Слушают,
что из-за Ламанша.
Слб́мят.
Сдадут.
Предадут.
Или
красным флагом нам замашут.
Слышу.
Слышу
грузовозов храп,
лязг оружия,
цоканье шпор.
Это в док
идут штрейкбрехера.
Море,
им в морду
выплесни шторм!

Слышу,
 шлепает дворцовая челядь.
К Болдуину,
 не вяжущему лык,
сэр Макдональд
 пошел церетелить.
Молния,
 прибей соглашательский язык!
Слышу —
 плач промелькнул мельком.
Нечего есть.
 И нечего хлебать.
Туман,
 к забастовщикам
 теки молоком!
Камни,
 обратитесь в румяные хлеба!
Радио стало.
 Забастовала высь.
Пусто —
 ни слова —
 тишь да гладь.
Земля,
 не гони!
 Земля,— остановись!
Дай удержаться,
 дай устоять.
Чтоб выйти
 вам
 из соглашательской опеки,
чтоб вам
 гореть,
 а не мерцать,—
вам наш привет
 и наши копейки,
наши руки
 и наши сердца.
Нам
 чужды
 политиков шарады —
большевикам
 не надо аллегорий.

МОСКОВСКИЙ КИТАЙ

Чжан Цзо-лин
да У Пей-фу
да Суй да Фуй —
разбирайся,
от усилий в мыле!
Натошак
попробуй
расшифруй
путаницу
раскитаенных фамилий!
Эта жизнь
отплыла сновиденьем,
здесь же —
только звезды
поутру утрут —
дым
уже
встает над заведением
«Китайский труд».
Китаец не рыбка,
не воробей на воротах,
надо
«шибака»
ему работать.
Что несет их
к синькам
и крахмалам,
за 6 тысяч верст
сюда
кидает?

Там
земля плохая? Рису, что ли, мало?
Или
грязи мало
для мытья
в Китае?
Длиннен всегда
день труда.
Утюг сюда,
утюг туда.
Тихо здесь,
коты
лежат и жмурятся.
И любой
рабочий
защищен.
А на родине
мукденцы
да манчжурцы...
Снимут голову —
не отрастишь еще.
Тяжело везде,
да не надо домой,
лучше весь день
гладь
да мой!
У людей
единственная
фраза на губах,
все одно и то же,
явь ли,
или сон:
— В пятницу
к двенадцати
пять рубах! —
— В среду
к обеду
семь кальсон! —

Не лучший труд —
бумажные розы.
Мальчишки орут:
— У-у-у!

Китаёзы! —
Повернется,
взглядом подарив,
от которого
зажглось
лицо осеннее...

Я
хотя совсем не мандарин,
а шарахаюсь от их косения.

Знаю,
что — когда
в Китай
придут
октябрьские повторы
и сшибется
класс о класс —
он покажет им,
народ,
который
косоглаз.

1926

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ
ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».
Это — он.
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
— Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте,—
в бытность человеком
ты пивал чай
со мною в дип-купе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,

напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел...
Суньтесь —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой лунища.
Ну и здорово!
Залегла,
просторы надвое порвав.
Будто навеки
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средние.
«Мало ли
что можно
в книжке намолоть!»
А такое —
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулею чешите:

это —
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету—
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

15 июля, Ялта
1926

РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ
ДЕСАНТНЫХ СУДОВ:
«СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН»
И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»

Перья-облака́,
Опускайся, закат расканарейте!
Пара южной ночи гнет!
пароходов
говорит на рейде:
то один моргнет,
а то
другой моргнет.
Что сигналият?
Напрягаю я
морщины лба.
Красный раз...
угаснет,
и зеленый...
Может быть,
любовная мольба.
Может быть,
ревнует разозленный.
Может, просит:
— «Красная Абхазия»!
Говорит
«Советский Дагестан».
Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань.—

Но в ответ
 коварная
 она:
 — Как-нибудь
 один
 живи и грейся.
 Я
 теперь
 по мачты влюблена
 в серый «Коминтерн»,
 трехтрубный крейсер.
 — Все вы,
 бабы,
 трясогузки и каналы...
 Что ей крейсер,
 дылда и пачкун? —
 Поскулил
 и снова засигналил:
 — Кто-нибудь,
 пришлите табачку!..
 Скучно здесь,
 нехорошо
 и мокро.
 Здесь
 от скуки
 отсыреет и броня...—
 Дремлет мир,
 на Черноморский округ
 синь-слезищу
 морем оброне.

КРАСНОДАР

Северяне вам наврали
о свирепости февральей:
про метели,
 про заносы,
про мороз розовоносый.
Солнце жжет Краснодар,
словно щек краснота.
Красота!
Вымыл все февраль
 и вымел —
не февраль,
 а прачка,
и гуляет
 мостовыми
разная собачка.
Подпрыгивают фокусы —
показывают фокусы.
Кроме лапок,
 вся, как вакса,
низко пузом стелется,
волочит
 вразвалку
 такса
длинненькое тельце.
Бегут,
 трусят дворняжечки.
мохнатенькие ляжечки.
Лайка
 лает,
 взвивши нос,

на прохожих Ванечек;
пес такой
уже не пес,
это —
одуванчик.
Леваши,
сеттерá,
мопсики, этцетерá.
Даже
если
пара луж,
в лужах
сотня солнц юлится.
Это ж
не собачья глушь,
а собачкина столица.

1926

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Раньше
 праздновался
 разный Кирилл
да Мефодий.
Питье,
 фонарное освещение рыл
и прочее в этом роде.
И сейчас еще
 село
самогоном веселѐ.
На Союзе
 великане
тень фигуры хулиганьей.
Но мы
 по дням и по ночам
работаем,
 тьме угрожая.
Одно
 из наших больших начал —
«Праздник урожая».
Праздников много,—
 но отродясь
ни в России,
 ни около
не было,
 чтоб люди
 трубили, гордясь,
что рожь уродилась
 и свекла.

Республика

многим бельмо в глазу,
и многим

охота сломать ее.

Нас

штык

от врагов

защищает в грозу,
а в мирный день —
дипломатия.

Но нет у нас

довода

более веского,
чем амбар,
ломающийся от хлебных груд.

Нет у

дела

почетней деревенского,
почетнее,
чем крестьянский труд.

Каждый корабль пшеничных зерен —
это

слеза у буржуев во взоре.

Каждый лишний вагон репы—

это

смычке новые скрепы.

Взрастишь кукурузу в засушливой зоне —
и можешь

мечтать о новом фордзоне.

Чем больше будет хлебов ржаных.

тем больше ситцев у моей жены.

Еще завелась племенная свинья,

и в школу

рубль покатился, звеня.

На литр увеличь молоко коров,

и новый ребенок в Союзе здоров.

Чем наливней

и полнее колос,

тем громче

будет

советский голос.

Крепись этот праздник
из года в год,
выставляй
— похвалиться рад —
лучшую рожь,
лучший скот
и радужнейший виноград.
Лейся
по селам
из области в область
слов
горящая лава:
урожай — сила,
урожай — доблесть,
урожай увеличившим
слава!

1926

ДОЛГ УКРАИНЕ

Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет,
вы не знаете украинской ночи!
Здесь
небо
от дыма
становится чёрно,
и герб
звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепрове,
Днепр
заставят
на турбины течь.
И Днипрó
по проволокам-усам
электричеством
течет по корпусам.
Небось рафинада
и Гоголю надо!

Мы знаем,
 курит ли,
 пьет ли Чаплин,
мы знаем
 Италии безрукие руины;
мы знаем,
 как Дугласа
 галстук краплен...

А что мы знаем
 о лице Украины?

Знаний груз
 у русского
 тощ —

тем, кто рядом,
 почета мало.

Знают вот
 украинский борщ,
знают вот
 украинское сало.

И с культуры
 поснимали пенку:

кроме
 двух
 прославленных Тарасов —

Бульбы
 и известного Шевченка —
ничего не выжмешь,
 сколько ни старайся.

А если прижмут —
 зардеется розой

и выдвинет
 аргумент новый:
возьмет и расскажет
 пару курьезов —

анекдотов
 украинской мовы.

Говорю себе:
 товарищ москаль,

на Украину
 шуток не скаль.

Разучите
эту мову
на знаменах —
лексиконах алых,—

эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав...»
Разве может быть
затрепанней
да тише

слова
поистасканного
«слышишь»?!

Я
немало слов придумал вам,
взвешивая их,
одно хочу лишь,—
чтобы стали
всех
моих

стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».

Трудно
людей
в одно истолочь,

собой
кичись не очень.

Знаем ли мы украинскую ночь?

Нет,
мы не знаем украинской ночи.

ДВЕ МОСКВЫ

Когда автобус,
 пыль развеяв,
прет
 меж часовен восковых,
я вижу ясно —
 две их,
их две в Москве —
 Москвы.

1

Одна —
 это храп ломовий и скрип,
Китайской стены покосившийся гриб.
Вот так совсем
 и в седые века
здесь
 ширился мат ломовика.
Вокруг ломовых бубнят наобум,
что это
 бумагу везут в Главбум.
А я убежден,
 что, удар изловча,
добро везут,
 разбив половчан.
Из подмосковных степей и лон
везут половчанок, взятых в полон.
А там,
 где слово «Моссельпром»
под молотом
 и под серпом,

стоит
и окна глазом ест
вотyak,
приехавший на съезд,
не слышавший,
как печенег,
о монпансье и ветчине.
А вбок —
гармошка с пляскою,
пивные двери ляскают.
Есенины
по кабакам,
как встарь,
друг другу мнут бока.
А ночью тишь,
и в тишине
нет ни гудка,
ни шины нет...
Храпит Москва древнею,
и в небе
цвета крем
глухой старухой древнею
никчемный
черный Кремль.

2

Не надо быть пророком-провидцем,
всевидающим оком святейшей троицы,
чтоб видеть,
как новое в людях роится,
вторая Москва
вскипает и строится.
И там
и тут
то громоздится лесами почтамт,
то Ленинский институт.
Дыры
метровые
потом политы,
чтоб ветра быстрее
под землей полетел,

из-под покоев митрополитов
сюда чтоб
вылез
митрополитен.
Восторженно видеть
рядом и вместе
пыхтенье машин
и пыли пласты,
как плотники
с небоскреба «Известий»
плюются
вниз,
на Страстной монастырь.

А там
вместо храпа коней от обузы
гремят грузовозы,
пыхтят автобúсы.

И кажется:
центр-ядро прорвалó
Садовых кольцо
и Коровьих валóз.

Отсюда
слышится и мне
шипенье приводных ремней.
Как стих,
крепящий болтом
разболтанную прозу,
завод «Серпа и Молота»,
завод «Зари»
и «Розы».

Растет представленье
о новом городе,
который
деревню погонит на корде.
Качнется,
встанет,
подтянется сонница,
придется и ей
трактореть и фордзониться.

Краснеет на шпиге флага тряпица,
бессонен Кремль, и стены его
зовут работать и торопиться,
бросая со Спасской
 гимн боевой.

1926

НЕ ЮБИЛЕЙТЕ!

Мне б хотелось
 про Октябрь сказать,
 не в колокол названивая,
не словами,
 украшающими
 тепленький уют,—
дать бы
 революции
 такие же названия,
как любимым
 в первый день дают!
Но разве
 уместно
 слово такое?
Но разве
 настали
 дни для покоя?
Кто галоши приобрел,
 кто зонтик;
радуется обыватель:
 «Небо голубó...»
Нет,
 в такую ерунду
 не рассказёнте
боевую
 революцию — любовь.

Сбереженный рубль — сбереженный заряд,
поражающий вражеский ряд.
Остановка для вас, для вас
юбилей —

а для нас — это сплавы лей.

Разобьет
врага
электрический ход
лучше пушек
и лучше пехот.

Юбилей!
А для нас — подсчет работ,
перемеренный литрами пот.
Знаем:

в графиках
довоенных норм
коммунизма одежда и корм.
Не горюй, товарищ,
что бой измельчал:
— Глаз на мелочь! —
приказ Ильича.

Надо в каждой пылинке
будить уметь
большевистского пафоса медь.

Зорче глаз крестьянина и рабочего,
и минуту
не будь рассеянней!

Будет:
под ногами
заколеблется почва
почище японских землетрясений.
Молчит

перед боем,
топки глуша,
Англия бастующих шахт.

Пусть
 китайский язык
 мудрен и велик —
 знает каждый и так,
 что Кантон
 тот же бой ведет,
 что в Октябрь вели
 наш
 рязанский
 Иван да Антон.
 И в сердце Союза
 война.
 И даже
 киты батарей
 и полки.
 Воры
 с дураками
 засели в блиндажи
 растрат
 и волокит.
 И каждая вывеска:
 — рабкооп —
 коммунизма тяжелый окоп.
 Война в отчетах,
 в газетных листах, —
 рассчитывай,
 режь и крой.
 Не наша ли кровь
 продолжает хлестать
 из красных чернил РКИ?!
 И как ни тушили огонь —
 нас трое!
 Мы
 трое
 охапки в огонь кидаем:
 растет революция
 в огнях Волховстроя,
 в молчании Лондона,
 в пулях Китая.

Нам
девятый Октябрь — не покой,
не причал.

Сквозь десятки таких девяти
мозг живой,
живая мысль Ильича,
нас
к последней победе веди!

1926

СИФИЛИС

Пароход подошел,
завыл, погудел —
и скован,
как каторжник беглый.
На палубе
700 человек людей,
остальные —
негры.
Подплыл
катерок
с одного бочка.
Вбежав
по лесенке хромо́й,
осматривал
врач в роговых очках:
«Которые с трахомой?»
Припудрив прыщи
и наружность вымыв,
с кокетством себя волоча,
первый класс
дефилировал
мимо
улыбавшегося врача.
Дым
голубой
из дустволки ноздрей
колечком
единым
свив,

первым
 шел
 в алмазной заре
 свиной король —
 Свифт.
 Трубка
 воняет,
 в метр длиной.
 Попробуй к такому —
 полезь!
 Под шелком кальсон,
 под батистом-лино
 поди,
 разбери болезнь.
 «Остров,
 дай
 воздержанья зарок!
 Остановить велите!»
 Но взял
 капитан
 под козырек,
 и спущен Свифт —
 сифилитик.
 За первым классом
 шел второй.
 Исследуя
 этот класс,
 врач
 удивлялся,
 что ноздри с дырой,—
 лез
 и в ухо
 и в глаз.
 Врач смотрел,
 губу своротив,
 нос
 под очками
 взморща.
 Врач
 троих
 послал в карантин

из
второклассного сорища.
За вторым
надвигался
третий класс,
черный от негритья.
Врач посмотрел:
четвертый час,
время коктейлей
питья.
— Гоните обратно
трюму в щель!
Больные —
видно и так.
Грязный вид... И вообще —
оспа не привита.—
У негра
виски
ревмя ревут.
Валяется
в трюме
Том.
Назавтра
Тому
оспу привьют,—
и Том
возвратится в дом.
На берегу
у Тома
жена.
Волоса
густые, как нефть.
И кожа ее
черна и жирна,
как вакса
«Черный лев».
Пока
по работам
Том болтается,
— у Кубы
губа не дура —

жену его
прогнали с плантаций
за неотработку
натурой.

Луна
в океан
накидала монет,
хоть сбросься,
вбежав на насыпь!

Недели
ни хлеба,
ни мяса нет.

Недели —
одни ананасы.

Опять
пароход
привинтило винтом.

Следующий
через недели!

Как дожждаться
с голодным ртом?

— Забыл,
разлюбил,
забросил Том!

С белой
рогожу
делит!—

Не заработать ей
и не скрасть.

Везде
полисмены под зонтиком.

А мистеру Свифту
последнюю страсть

раздула
эта экзотика.

Потело
тело
под бельецом
от черненького мясца.

Он тыкал
 доллары
 в руку, в лицо
в голодные месяца.
Схватились —
 желудок
 пустой давно
и верности тяжеловес.
Она
 решила отчетливо:
 «No!» —
и глухо сказала:
 «Yes!»
Уже
 на дверь
 плечом напирал
подгнивший мистер Свифт.
Его
 и ее
 наверх
 в номера
взвинтил
 услужливый лифт.
Явился
 Том
 через два денька.
Неделю
 спал без прóсыпа.
И рад был,
 что есть
 и хлеб,
 и деньга,
и что не будет оспы.
Но день пришел,
 и у кож
 в темноте
узор непонятный влеплен.
И дети
 у матерей в животе
онемевали
 и слепли.

ТРОПИКИ

(Дорога Вера-Круц — Мехико-сити)

Смотрю:

вот это —

тропики.

Всю жизнь

вдыхаю наново я.

А поезд

прет торопкий

сквозь пальмы

сквозь банановые.

Их силуэты-веники

встают рисунком тошненьким:

не то они — священники,

не то они — художники.

Аж сам

не веришь факту:

из всей бузы и вара

встает

растенье — кактус

трубой от самовара.

А птички в этой печке

красивей всякой меры.

По смыслу —

воробейчики,

а видом

шантеклеры.

Но прежде чем

осмыслил лес,

и бред,

и жар,

и день я —

и день
и лес исчез
без вечера
и без
предупреждения.
Где горизонта борозда?!
Все линии
потеряны.
Скажи,
которая звезда
и где
глаза пантерины?
Не счел бы
лучший казначей
звезды
тропических ночей,
настолько
ночи августа
звездой набиты
пагусто.
Смотрю:
ни зги, ни тропки.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд прет
сквозь тропики,
сквозь запахи
банановые.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Я
два месяца
шатался по природе,
чтоб смотреть цветы
и звезд, огнишки.
Таковых не видел.
Вся природа вроде
телефонной книжки.
Везде —
у скал,
на массивном грузе
Кавказа
и Крыма скалоликого,
на стенах уборных,
на небе,
на пузе
лошади Петра Великого,
от пыли дорожной
до гор,
где грозы
гремят,
грома потрясав,—
везде
отрывки стихов и прозы,
фамилии
и адреса.
«Здесь были Соня и Ваня Хайлов.
Семейство ело и отдыхало».

«Коля и Зина
соединили души».

Стрела
и сердце
в виде груши.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Комсомолец Петр Парулайтис».

«Мусью Гога,
парикмахер из Таганрога».

На кипарисе,
стоящем века,
весь алфавит:
а б в г д ж з к.

А у этого
от лазанья
талант иссяк.

Превыше орлиных зоп,
просто и мило:

«Исак

Лебензон».

Особенно
людей
винить не будем.

Таким нельзя
без фамилий и дат!

Всю жизнь канцелярствовали,
привыкли люди.

Они
и на скалу
глядят, как на мандат.

Такому,
глядящему
за чаем
с балконца,

как солнце
садится в чаше,

ни восход,
ни закат,
а даже солнце —

входящее
и исходящее.

Эх!

я б

к весне

декрет железный выковал:

«По фамилиям

на стволах и скалах

узнать

подписавшихся малых.

Каждому

в лапки

дать по тряпке.

За спину ведра —

и марш бодро!

Подписавшимся

и Колям

и Зинам

собственные имена

стирать бензином.

А чтоб энергия

не пропадала даром,

кстати и Ай-Петри

почистить скипидаром.

А кто

до того

к подписям привык,

что снова

к скале полез,—

у этого

навсегда

закрывается лик-

без».

Под декретом подпись

и росчерк броский —

В л а д и м и р М а я к о в с к и й.

Ялта, Симферополь, Гурзуф, Алушка.

1926

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена,
и разен язык

и одежи!

Насилу,

пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.

И, глуша прощаньем свистка,
рванулся

курьерский

с Курского!

Заводы.

Березы от леса до хат
бегут,

листочками ворочая,
и чист,

как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.

Из-за горизонтов,

лесами сломанных,
толпа надвигается

мазанок.

Цветисты бочкá

из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.

Стихов навезите целый мешок,
с таланта

можете лопаться,—

в ответ
 снисходительно cedят смешок
уста
 украинца хлопца.
Пространства бегут,
 с хвоста нарастав,
их жарит
 солнце-кухарка.
И поезд
 уже
 бежит на Ростов,
далёко за дымный Харьков.
Поля —
 на миллионы хлебных тонн —
как будто
 их гладят рубанки,
а в хлебной охре
 серебряный Дон
блестит
 позументом кубанки.
Ревем паровозом до хрипоты,
и вот
 началось кавказское, —
то головы сахара высят хребты,
то в солнце —
 пожарной каскою.
Лечу
 ущельями, свист приглушив,
снегов и папах седьны.
Сжимая кинжалы, стоят ингуши,
следят
 из седла
 осетины.
Верх
 гор —
 лед,
низ —
 жар
 пьет,
и солнце льет иод.

Тифлисцев

узнаешь и метров за сто:
гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах,
в ботинках носастых,

эткими парижáками.

По-своему

всякий

зубрит азы,
аж цифры по-своему снятся им.
У каждого третьего —

свой язык

и собственная нация.

Однажды,

забросив в гостиницу хлам,
забыл,

где я ночую.

Я

адрес

по-русски

спросил у хохла,

хохол отвечал:

— Нэ чую. —

Когда ж переходят

к научной теме,

им

рамки русского

узки;

с Тифлисской

Казанская академия
переписывается по-французски.

И я

Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).

Ну, мало ли что —

Бодлер,

Маларме

и эдакое прочее!

Но нам ли,

шагавшим в огне и воде,
годами,

борьбой прожженными,

растить
на смену себе
бульвардые,
французистыми пижонами!
Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но нету места
злобы мазку,
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши.
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то
без унынья и лени
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью лился,
я знаю,
в Москве решали судьбу
и Киевов
и Тифлисов.
Москва
для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,

Москва
не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
разных истока
во мне
речевых.
Я
не из кацапов разинь.
Я—
дедом казак,
другим —
сечевик,
а по рождению
грузин.
Три
разных капли
в себе совмещав,
беру я
право вот это —
покрыть
всесоюзных совмещан,
и ваших
и русопетов.

1927

ЛУЧШИЙ СТИХ

Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.
— Товарищ Маяковский,
прочтите
лучшее
ваше
стихотворение. —
Какому
стиху
отдать честь?
Думаю,
упершись в стол.
Может быть,
это им прочесть,
а может,
прочесть то?
Пока
перетряхиваю
стихотворную старь
и нем
ждет
зал,
газеты
«Северный рабочий»
секретарь
тихо
мне
сказал...

О, есть ли
 привязанность
 большей силищи,
чем солидарность,
 прессующая
 рабочий улей?!
Рукоплещи, ярославец,
 маслобой и текстильщик,
незнаемым
 и родным
 китайским кули!

1927

ЛЕНА

Встаньте, товарищи,
 прошу подняться.
От слез
 удержите глаза.
Сегодня
 память
 о павших
 пятнадцать
лет назад.
Хуже каторжных,
 бесправней пленных,
в морозе,
 зубастей волков
 и лютёй,
жили
 у жил
 драгоценной Лены
тысячи
 рабочих людей.
Роя
 золото
 на пятерки и короны,
рабочий
 тощал
 голодухой и дырами.
А в Питере
 сидели бароны,
паи
 запивая
 во славу фирмы.

Годы
на тухлой конине
мысль
сгустили
простую:
«Ныне
больше нельзя —
бастую».
Чего
хотела
масса,
копачей
несчетное число?
Капусты,
получше мяса
и работы
8 часов.
Затягивая
месяца на три,
директор
что было сил
уговаривал,
а губернатора
слать
войска
просил.
Скрипенье сапог
и скрипение льда.
Это
сквозь снежную тишь
жандарма Терещенко
и солдат
шлет
губернатор Бантыш.
А дальше?
Дальше
рабочие шли
просить
о взятых в стачке.

И ротмистр Терещенко
визгнул
«пли!»

и ткнул
в перчатке пальчик.
За пальцем
этим
рванулась стрельба —
второй
после первого залпа.
И снова
в мишень
рабочего лба
жандармская
метится
лапа.

За кофею
утром рано
пишет
жандарм
упитанный:
«250 ранено.
270 убито».

Молва
о стрельбе причины
пошла
шагать
по фабричным.

Делом
растет
молва.

Становится
завод
сотый.

Дрожит
коронованный болван
и пайщики
из Лензоты.

И горе
 ревя
 по заводам брело:
— Бросьте
 покорности
 горы
 нести!—

И день этот
 сломленный
 был перелом,
к борьбе перелом
 от покорности.

О Лене память
 ни дни,
 ни года
в сердцах
 не сотрут никогда.

Шаг
 вбивая
 победный
 твой
в толщу
 уличных плит,
помни,
 что флаг
 над головой
ленскою кровью
 облит.

ОСТОРОЖНЫЙ МАРШ

Гляди, товарищ, в оба!
Вовсю раскрой глаза!
Британцы
 твердолобые
республике грозят.
Не будь,
 товарищ,
слепым
 и глухим!
Держи,
 товарищ,
порох
 сухим!
Стучат в бюро Аркосовы,
со всех сторон насеив:
как ломом,
 лбом кокосовым
ломают мирный сейф.
С такими,
 товарищ,
не сваришь
 ухи.
Держи,
 товарищ,
порох
 сухим!
За барыней,
 за Англией
и шавок лай летит,—

уже
у новых Врангелей
взыгрался аппетит.
Следи,
товарищ,
за лаем
лихим.
Держи,
товарищ,
порох
сухим!
Мы строим,
жнем
и сеем
Наш лозунг:
«Мир и гладь».
Но мы
себя
сумеем
винтовкой отстоять.
Нас тянут,
товарищ,
к войне
от сохи.
Держи,
товарищ,
порох
сухим!

1927

ГОСПОДИН НАРОДНЫЙ АРТИСТ

Парижские «Последние новости» пишут: «Шалапин пожертвовал священнику Георгию Спасскому, на русских безработных в Париже, 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмитриеву. 1000 роздана Спасским лицам, ему знакомым, по его усмотрению, и 3000 — владыке митрополиту Евлогию».

Вынув бумажник из-под хвостика фрака,
добрейший Федор Иванович Шалапин
на русских безработных пять тысяч франков
бросил на дно
 поповской шляпы.
Ишь, сердобольный, как заботится!
Конешно, плохо, если жмет безработица.
Но... удивляют получающие пропитанье.
Почему у безработных званье капитанье?
Ведь не станет лезть
 морское капитанство
на завод труда и в шахты пота.

Так чего же ждет
Евлогиева паства
и какая
ей
нужна работа?
Вот если,
за нынешней
грозою потною,
пойдет война
в орудийном аду,—
шляпинские безработные
живо
себе
работу найдут.
Впервые
тогда
комсомольская масса,
раскрыв
пробитые пулями уши,
сведет
знакомство
с шляпинским басом
через бас
белогвардейских пушек.
Когда ж
полями,
кровью полётыми,
рабочие
бросят
руки и ноги,—
вспомним тогда
безработных митрополита
Евлогия.
Говорят,
артист —
большой ребенок.
Не знаю,
есть ли
у Шляпина бонна.

Но если
 бонны
 нету с ним,
мы вместо бонны
 ему объясним.
Есть класс пролетариев
 миллионногорбый
и те,
 кто покорен фаустовскому тельцу;
на бой
 последний
 класса оба
сегодня
 сошлись
 лицом к лицу.
И песня,
 и стих —
 это бомба и знамя,
и голос певца
 подымает класс,
и тот,
 кто сегодня
 поет не с нами,
тот
 против нас.
А тех,
 кто под ноги атакующим бросится,
с дороги
 уберет
 рабочий пинок.
С барина
 с белого
 сорвите, наркомпросцы,
народного артиста
 красный венок!

НУ, ЧТО ЖЕ

Раскрыл я
 с тихим шорохом
глаза страниц...
И потянуло
 порохом
от всех границ.

Не вновь,
 которым за двадцать,
в грозе расти.
Нам не с чего
 радоваться,
но нечего
 грустить.

Бурна вода истории.
Угрозы
 и войну
мы взрежем
 на просторе,
как режет
 киль волну.

1927

ПРИЗЫВ

Теперь
к террору
от словесного сора
перешло
правительство
британских тупиц:
на территорию
нашу
спущена свора
шпионов,
поджигателей,
бандитов,
убийц.
В ответ
на разгул
белогвардейской злобы
тверже
стой
на посту,
нога!
Смотри напряженно!
Смотри в оба!
Глаз на врага!
Рука на наган!
Н а ш и
и склады,
и мосты,
и дороги.
С о б с т в е н н ы м,
к р о в н ы м,
своим дорожа,

встаньте в караул,
бессонный и строгий,
сами
своей республики сторожа!
Таких
на охрану республике выставь,
чтоб отдали
последнее
биение и дых.
Ответь
на выстрел
молодчика монархиста
сплоченностью
рабочих
и крестьян молодых!
Думай
о комсомоле
дни и недели!
Ряды
свои
оглядывай зорче.
Все ли
комсомольцы на самом деле?
Или
только
комсомольца корчат?
Товарищи,
опасность
вздывается справа.
Не доглядишь —
себя вини!
Спайкой,
стройкой,
выдержкой
и расправой
спущенной своре
шею сверни!

«ЛЕНИН С НАМИ»

Бывают события:
 случаются раз,
 из сердца
 высекут фразу.
 И годы
 не выдумать
 лучших фраз,
 чем сказанная
 сразу.
 Таков
 и в Питер
 ленинский въезд
 на башне
 броневика.
 С тех пор
 слова
 и восторг мой
 не ест
 ни день,
 ни год,
 ни века.
 Все так же
 вскипают
 от этой даты
 души
 фабрик и хат.
 И я
 привожу вам
 просто цитаты
 из сердца
 и из стиха.

Февральское пламя
померкло быстро,
в речах
утопили
радость февральскую.
Десять
министров капиталистов
уже
на буржуев
смотрят с ласкою.
Купался
Керенский
в своей победе,
задав
революции
адвокатский тон.
Но вот
пошло по заводу:
— Едет!
Едет!
— Кто едет?
— Он!—
И в город,
уже
заплывающий салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик.
Была
простая
машина эта,
как многие,
шла над Невою.
Прошла,
а нынче
по целому свету
дыханье ее
броневое.

И снова
 ветер,
 свежий и крепкий,
валы
 революции
 поднял в пене.
Литейный
 залили
 блузы и кепки.
— Ленин с нами!
 Да здоровствует Ленин!—
И с этих дней
 езде
 и во всем
имя Ленина
 с нами.
Мы
 будем нести,
 несли
 и несем —
его,
 Ильичево знамя.
— Товарищи! —
 и над головами
 первых сотен
вперед
 ведущую
 руку выставил.
— Сбросим
 эсдечества
 обветшавшие лохмотья!
Долой
 власть
 соглашателей и капиталистов! —
Тогда
 рабочий,
 впервые спрошенный,
еще нестройно
 отвечал:
 — Готов!—

А сегодня
 буржуй
и нашей власти — распастан, сброшенный,
 десять годов.
— Мы —
 голос
 воли низа,
рабочего низа
 всего света.
Да здравствует
 партия,
 строящая коммунизм!
Да здравствует
 восстание
 за власть Советов! —
Слова эти
 слушали
 пушки мордастые,
и щерился
 белый,
 штыками блестя.
А нынче
 Советы и партия
 здравствуют
в союзе
 с сотней миллионов крестьян.
Впервые
 перед толпой обалделой,
здесь же,
 перед тобою,
 близ —
встало,
 как простое
 делаемое дело,
недосягаемое слово
 — «социализм».
А нынче
 в упряжку
 взяты частники.

Коопов
 стосортных
 сети вьем,
показываем
 ежедневно
 в новом участке
социализм
 живьем.
Здесь же,
 из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
 во весь свод,
встала
 завтрашняя
 коммуна трудящихся —
без буржуев,
 без пролетариев,
 без рабов и господ.
Коммуна —
 еще
 не дело дней,
и мы
 еще
 в окружении врагов,
но мы
 прошли
 по дороге к ней
десять
 самых трудных шагов.

1927

МОЩЬ БРИТАНИИ

Британская мощь
целиком на морях,—
цари
в многоводном лоне.
Мечта их —
одна!
весь мир покоря,
бросать
с броненосцев своих
якоря
в моря
кругосветных колоний.
Они
ведут
за войной войну,
не бросят
за прибылью гнаться.
Орут:
— Вперед, матросы!
А ну,
за честь
и свободу нации! —
Вздымаются бури,
моря беля,
моряк
постоянно на вахте.

Буржуи
горстями
берут прибыль
на всем —
на грузах,
на фрахте.
Взрываются
мины,
смертями смердя,
но жир у богатых
отрос;
страховку
берут
на матросских смертях,
и думает
мрачно
матрос.
Пока
за моря
перевозит груз,
он думает,
что на берегу
все те,
кто ведет
матросский союз,
копейку
его
берегут.
А на берегу
союзный глава,
мистер
Гевлок Вильсон,
хозяевам
продал
дела и слова
и с жиру
толстеет, как слон.
Хозяева рады, —
свой человек
следит
за матросами
круто.

И ловит
Вильсон
 солидный чек
на сотню
 английских фунтов.
Вильсон
 к хозяевам впущен в палаты
и в спорах,
 добрый и миленький,
по ихней
 просьбе
 с матросской зарплаты
спускает
 последние шиллинги.
А если
 в его махинации
 глаз
запустит
 рабочий прыткий,
он
 жмет плечами:
 — Никак нельзя-с!
промышленность
 терпит убытки.—
С себя ж
 и рубля не желает соскрести,
с тарифной
 иудиной сетки!
вождю, мол,
 надо
 и пить, и есть,
и, сами знаете,
 детки.
Матрос, отправляясь
 в далекий рейс,
к земле
 оборачивай уши,
глаза
 нацеливай
 с мачт и рей
на то,
 что творится на суше!

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ

В любом учреждении
 есть подхалим.
Живут подхалимы,
 и неплохо им.
Подчас молодежи,
 на них глядя,
хочется
 устроиться —
 как устроился дядя.
Но как
 в доверие к начальству влезть?
Ответственного
 не возьмешь на низкую лесть.
Например,
 распахивать перед начальством
 двери —
не к чему.
Начальство тебе не поверит,
не оценит
 энергии
 излишнюю трату —
подумает,
 что это
 ты —
 по штату.
Или вот еще
 способ
 очень грубый:

трубить
 начальству
 в пионерские трубы.
 Еще рассердится:
 — Чего, мол, ради
 ежесекундные
 праздники
 у нас
 в отряде? —
 Надо
 льстить
 умело и тонко.
 Но откуда
 тонкость
 у подростка и ребенка?!
 И мы,
 желанием помочь палимы,
 выпускаем
 «Руководство
 для молодого подхалимы».
 Например,
 начальство
 делает доклад —
 выкладывает канцелярской премудрости
 клад.
 Стакан
 ко рту
 поднесет рукой
 и опять
 докладывает час-другой.
 И вдруг
 воплъ посредине доклада:
 — Время
 докладчику
 ограничить надо! —
 Тогда
 ты,
 сотрясая здание,
 требуй:
 — Слово
 к порядку заседания!

Доклад —
 звезда средь мрака и темени.
 Требую
 продолжать
 без ограничения времени! —
 И будь уверен —
 за слова эти
 начальство запомнит тебя
 и заметит.
 Узнав,
 что у начальства
 сочинения есть,
 спеши
 печатный отчетишко прочесть.
 При встрече
 с начальством,
 закатывая глазки,
 скажи ему
 голосом,
 полным ласки:
 — Прочел отчет.
 Не отчет, а роман!
 У вас
 стихи бы
 вышли задарма!
 Скажите,
 не вы ли
 автор «Антидюринга»?
 Тоже
 написан
 очень недурненько. —
 Уверен будь —
 за оценки за эти
 и начальство
 оценит тебя
 и заметит.
 Увидишь:
 начальство
 едет пьяненький
 в казенной машине —
 и в дамской компанийке.

Пиши
в стенгазету,
возмущенный насквозь:
«Экономия экономии рознь.
Такую экономию —
высмейте смешком!
На что это похоже?!
Еле-еле
со службы
и на службу,
таскаясь пешком,
начканц
волочит свои портфели».
И ты
преуспеешь на жизненной сцене, —
начальство
заметит тебя
и оценит.

А если
не хотите
быть подхалимой,
сами
себе
не зажимайте рот:
увидев
безобразие,
не проходите мимо
и поступайте
не по стиху,
а наоборот.

МУСКУЛ СВОЙ,
ДЫХАНИЕ
И ТЕЛО
ТРЕНИРУЙ С ПОЛЬЗОЙ
ДЛЯ ВОЕННОГО ДЕЛА

Никто не спорит:
летом
каждому
нужен спорт.

Но какой?
Зря помахивать
гирей и рукой?

Нет,
не это!
С пользой проводи
сегодняшнее
лето.

Рубаху
в четыре пота промочив,
гол
загоняй
и ногой, и лбом,
чтоб в будущем
бросать
разрывные мячи

в ответ
на град
белогвардейских бомб.

Нечего
мускулы
зря нагонять,

не нам
растить
«мужчин в соку».

Учись
вскочить
на лету на коня,
с плеча
учись
рубить на скаку.

Дача.
Комсомолки.
Сорок по Цельсию.

Стеляют
глазками
усастьх проныр.

Комсомолка,
лучше
из нагана целься.

И думай:
перед тобой
лорды и паны.

Жир
нарастает
тяжел и широк
на пышном лоне
канцелярского брюшка.

Служащий,
довольно.
Временный жирок
скидывай
в стрелковых кружках.

Знай
и французский
и английский бокс,
но не для того,
чтоб скулу
сворачивать вбок,
а для того,
чтоб, не боясь
ни штыков, ни пуль,

одному
обезоружить
целый патруль.

Если
любишь велосипед —
тоже
нечего
зря сопеть.

Помни,
на колесах
лучше, чем пеший,
доставишь в штаб
боевые депеши.

Развивай
дыханье,
мускулы,
тело

не для того,
чтоб зря
наращивать бицепс,
а чтоб крепить
оборону
и военное дело,
чтоб лучше
с белыми биться.

НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ

Вена дрожит
от рева медного.
Пулями
лепит
пулеметный рокот...
Товарищи,
не забудем
этого
предметного
урока.
Просты
основания
этой были.
Все ясно. Все чисто.
Фашисты,
конечно,
рабочих убили,—
рабочие
бросились на фашистов.
Кровью черных
земля мокра.
На победу
растим надежду!
Но
за социал-демократом
социал-демократ
с речами
встали
между.

— Так, мол, и так,
рабочие, братцы!.. —
Стелются
мягкими ковёрчиками.
— Бросьте забастовку,
бросьте драться,
уладим все
разговорчиками. —
Пока
уговаривали,
в окраинные улицы
вступали
фашистские войска, —
и вновь
револьверное дульце
нависло
у рабочего виска.
57 гробов,
а в гробах —
убитые пулями
черных рубах.
Каждый театр
набит и открыт
по приказу
бургомистра,
эсдека Зейца.
Дескать,
под этот
рабочий рыд
лучше еще
оперетты глазеются.
Партер
сияет,
весел и чист,
и ты,
галерочник,
смотри и учись, —
когда
перед тобою
встают фашисты,
обезоруженным
не окажись ты.

Нечего
слушать
 рулады
 пения эсдечьего!
Во всех
 уголках
 земного шара
рабочий лозунг
 будь таков:
разговаривай
 с фашистами
 языком пожаров,
словами пуль,
 остротами штыков.

1927

ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА,
БРОШЕННОЙ ИМ,

КАК О ТОМ СООБЩАЕТСЯ
В № 219 «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»
В СТИХЕ ПО ИМЕНИ «СВИДАНИЕ»

Слышал —
 вас Молчанов бросил,
будто
 он
 предпринял это,
видя,
 что у вас
 под осень
нет
 «изячного» жакета.
На косынку
 цвета синьки
смотрит он
 и цедит еле:
— Что вы
 ходите в косынке?
Да и...
 мордой постарели.
Мне
 пожалте
 грудь тугую.
Ну,
 а если
 нету таких...
Мы найдем себе другую
— в разызысканной жакетке.—
Припомадясь
 и прикрасясь,

эту
 гадость
 вливши в стих,
хочет
 он
 марксистский базис
под жакетку
 подвести.
«За боль годов,
за все невзгоды
глухим сомнениям не быть!
Под этим мирным небосводом
хочу смеяться
и любить».
Сказано веско.
Посмотрите, дескать:
шел я верхом,
 шел я низом,
строил
 мост в социализм,
недостроил
 и устал
и уселся
 у моста́.
Травка
 выросла
 у моста́,
по мосту́
 идут овечки,
мы желаем
 — очень просто! —
отдохнуть
 у этой речки.
Заверните ваше знамя!
Перед нами
 ясность вод,
в бок —
 цветочки,
 а над нами —
мирный-мирный небосвод.

Это где же
 вы,
 Молчанов,
небосвод
 узрели
 мирный?
В гущу
 ваших рёздыхов,
под цветочки,
 на реку
заграничным воздухом
не доносит гарьку?
Или
 за любовной блажью
не видать
 угрозу вражью?

Литературная шатия,
успокойте ваши нервы,
отойдите, —
 вы мешаете
мобилизациям и маневрам.

1927

БАКУ

Я ВАС НЕ ПОНИМАЮ, МИСТЕР ДЕТЕРДИНГ

Объевшись рыбачьими шхунами досыта,
Каспийское море

пьяно от норд-оста.

На берегу —

волна неуклюжа

и сразу

ложится

недвижимой лужей.

На лужах

и грязи,

берег покрывшей,

в труде копошится

Баку плоскокрыший.

Песчаная почва

чахотит деревья,

норд-ост шатает, ветрами выстегав.

На всех бульварах

под башней Девьей

каких-нибудь

штук восемнадцать листиков.

Стой

и нефть таскай из песка.

Тоска!

Что надо

в этом Баку

Детердингу?

Он может
купить
не Баку,
а картинку.
Он может
купить
половину Сицилии
(как спички
в лавке
не раз покупали мы).
Ему
сицилийки не нравятся?
Или
природа плохая?
Финики, пальмы!
Не уговоришь его,
как ни усердствуй.
Сошло
с Детердинга
английское сэрство.
И сэр
такой испускает рык,
какой
испускать
лабазник привык:
— На кой они хрен мне,
финики эфти?!
Нефти хочу!
Н-е-ф-т-и!!!

Я ВАС ПОНИМАЮ, МИСТЕР ДЕТЕРДИНГ

Это что ж за такая за нефть,
что за вещь за такая
паршивая,
если, презрев
сицилийских дев,
сам Детердинг,
осатанев,
стал
печатать
червонцы фальшивые?

Нефть — это значит:
в грядущем бреду,
если
сорвется
война с якорей,
те,
кто на нефти,
с эскадрой придут
к вражьему берегу
вдвое скорей.
С нефтью
не страшны водные рвы.
Через волну
в океанском танце
на броненосце
несетесь вы —
прямо
и мимо угольных станций.
Уголь
чертит опасности имя,
трубы эскадры задравши ввысь.
Нефть —
это значит:
тих и бездымен
у берегов
внезапно явись.
Лошадь што?!
От старья останки.
Дом обходит,
вязнет в низине...
Нефть —
это значит:
что тракторы,
танки —
они на рожон
попрут на бензине.
Нефть —
это значит:
усядья роскошно,
аэрокрылья расставив врозь,

с чистого неба
 черным коршуном
наземь
 бомбу смертельную брось.
Это —
 миллионщиком стал оголец,
если
 фонтан забьет, бушует.
Нефть —
 это то,
 за что горлец
друг другу выгрызут
 два буржуа.
Нефть —
 это значит:
 сильных не гневайте,
пожалте, колонии,
 в пасть влазьте.
Нефть —
 это значит:
 владыка нефти —
владелец морей
 и держатель власти.

1927

ЧУДЕСА!

Как днище бочки,
 правильным диском
стояла
 луна
 над дворцом Ливадийским.
Взошла над землей
 и пошла заливать ее,
и льется па море,
 на мир,
 на Ливадию.

В царевых дворцах —
 мужики-санаторники.
Луна, как дура,
 почти в исступлении.

Глядят
 глаза
 блинорожия плоского
в афишу на стенах дворца:
 «Во вторник
выступление
товарища Маяковского».

Сам самодержец,
 здесь же,
 рядом,
гонял по залам
 и по биллиардам.

И вот,
 где Романов
 дулся с маркёрами,

шары
 ложá
 под свитское ржание,
 читаю я
 крестьянам
 о форме
 стихов
 и о содержании.
 Звонок.
 Луна
 отодвинулась тусклая,
 и я,
 в электричестве,
 стою на эстраде.
 Сидят предо мною
 рязанские,
 тульские,
 почесывают бороды русские,
 ерошат пальцами
 русые пряди.
 Их лица ясны,
 яснее, чем блюдце,
 где надо — хмуреют,
 где надо —
 смеются.
 Пусть тот,
 кто Советам
 не знает цѣну,
 со мною станет
 от радости пьяным:
 где можно
 еще
 читать во дворце —
 что?
 Стихи!
 Кому?
 Крестьянам!
 Таковую страну
 и сравнивать не с чем, —
 где еще
 мыслимы
 подобные вещи?!

И думаю я
 обо всем,
 как о чуде.
Такое настало,
 а что еще будет!
Вижу:
 выходят
 после лекции
два мужика
 слоновъей комплекции.
Уселюсь
 вдвоем
 под стеклянный шар,
и первый
 второму
 заметил:
 — Мишка,
оченно хороша —
эта
 последняя
 была рифмишка.—
И долго еще
 гудят ливадийцы
на желтых дорожках,
 у синей водицы.

1927

РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА
О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Я пролетарий.
Объясняться лишне.
Жил,
как мать произвела, родив.
И вот мне
квартиру
дает жилищный,
мой
рабочий
кооператив.
Во — ширина!
Высота — во!
Проветрена,
освещена
и согрета.
Все хорошо.
Но больше всего
мне
понравилось —
это:
это
белее лунного света,
удобней,
чем земля обетованная,
это —
да что говорить об этом,
это —
ванная.

Вода в кране —
 холодная крайне.
 Кран
 другой
 не тронешь рукой.
 Можешь
 холодной
 мыть хохол,
 горячей —
 пот пор.
 На кране
 одном
 написано:
 «Хол.»,
 на кране другом —
 «Гор.».

Придешь усталый,
 вешаться хочется.
 Ни ши не радуют,
 ни чая клокотанье.
 А чайкой поплещешься —
 и мертвый расхохочется
 от этого
 плещущего щекотания.
 Как будто
 пришел
 к социализму в гости,
 от удовольствия —
 захватывает дых.

Брюки на крюк,
 блузу на гвоздик,
 мыло в руку
 и...
 бултых!

Сядешь
 и моешься
 долго, долго.

Словом,
 сидишь,
 пока охота.

Просто
в комнате
лето и Волга,—
только что нету
рыб и пароходов.
Хоть грязь
на тебе
десятилетнего стажа,
с тебя,
корою с дерева,
чуть не лыком
сходит сажа,
смывается, стерва.
И уж распаришься,
разжаришься уж!
Тут —
вертай ручки:
и каплет
прохладный
дождик-душ
из дырчатой
железной тучки.
Ну уж и ласковость в этом душе!
Тебя
никакой
не возьмет упадок:
погладит волосы,
потреплет уши
и течет
по жолобу
промежду лопаток.
Воду
стираешь
с мокрого тельца
полотенцем,
как зверь, мохнатым.
Чтобы суше пяткам —
пол
стелется,
извиняюсь за выражение,
пробковым матом.

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПЕСНЯ

Дрянь адмиральская —
пан

и барон
шли

от шестнадцати
разных сторон.

Пушка
французская,
английский танк.
Белым

папаша —
Антантовый стан.
Билась

советская
наша страна,
дни

грохотали
разрывом гранат.

Не для разбоя
битва зовет,
мы

защищаем
поля

и завод.
Шли деревенские,
лезли из шахт,
дрались

голодные,
в рвани

и вшах.

Серые шлемы
с красной звездой
белой ораве
крикнули:

Стой!
Били Деникина,
били

Махно, —
так же

любого
с дороги смахнем.

Хрустнул,
проломанный,

Крыма хребет.
Красная

крепла
в громе побед.
С вами

сливалось,
победу растя,
сердце

рабочих,
сердце
крестьян.

С первой тревогою
с наших низов
стомиллионные
встанем на зов.
Землю колебля,
в новый поход
двинут

дивизии
Красных пехот.
Помня

принятие
красных присяг,
лава

Буденных
пойдет
на рысях.

Против
буржуевых
новых блокад —
красные

птицы
займут облака.

Крепни

и славься
в битвах веков,
Красная

Армия
большевиков!

1928

ЛОЗУНГИ-РИФМЫ

Десять лет боевых прошло.

Вражий раж
еще не утих.

Может,

скоро

дней эшелон

пылью

всклубит

боевые пути.

Враг наготове.

Битвы грядут.

Учись

шагать

в боевом ряду.

Учись

отражать

атаки газовые,

смерти

в минуту

маску показывая.

Буржуй угрожает.

Кто уймет его?

Умей

управляться

лентой пулеметовой.

Готовится
к штурму Антанта чертова,—
учись
атакам,
штык повертывая.

Враг разбежится,
кто погонится?
Гнать златопогонников
учись, конница.

Слышна
у заводов
врага нога нам.

Учись,
товарищ,
владеть наганом.

Не век
стоять
у залива в болотце.

Крепите
советский флот,
краснофлотцы!

Битва не кончена,
только смолкла,
готовься, комсомолец
и комсомолка.

Сердце
республика
с армией слыла,

пету
на свете
тверже сплава.

Красная Армия —
наша сила.

Нашей
Красной Армии
слава!

СЛУЖАКА

Появились
 молодые
превоспитанные люди —
Мопров
 знаки золотые
им
 увенчивают груди.
Парт-комар
 из МККа
не подточит
 парню
 носа:
к сроку
 вписана
 строка
проф-
 и парт-
 и прочих взносов.
Честен он,
 как честен вол.
В место
 в собственное
 вросся
и не видит
 ничего
дальше
 собственного носа.
Коммунизм
 по книге сдав,
перевызубривши «измы»,

он
покончил навсегда
с мыслями
о коммунизме.
Что заглядывать далече?!
Циркуляр
сиди
и жди.
— Нам, мол,
с вами
думать неча,
если
думают вожди. —
Мелких дельцев
пару шор
он
надел
на глаза оба,
чтоб служилось
хорошо,
безмятежно,
узоклобо.
День — этап
растрат и лести,
день,
когда
простор подлизам, —
это
для него
и есть
самый
рассоциализм.
До коммуны
перегон
не покрыть
на этой кляче,
как нарочно
создан
он
для чиновничьих делячеств.
Блещут
знаки золотые,

гордо
 выпячены
 груди,
ходят
 тихо
 молодые
приспособленные люди.
О коряги
 якорятся
там,
 где тихая вода...
А на стенке
 декорацией
Карлы-марлы борода.

Мы томимся неизвестностью,
что нам делать
 с ихней честностью?
Комсомолец,
 живя
 в твои лета,
октябрьским
 озоном
 дыша,
помни,
 что каждый день —
 этап,
к цели
 намеченной
 шаг.
Не наши —
 которые
 времени в зад
уперли
 лбов
 медь;
быть коммунистом —
 значит дерзать,
думать,
 хотеть,
 сметь.

У нас
еще
не Эдем и рай,—
мещанская
тина с цвелью.
Работая,
мелочи соразмеряй
с огромной
поставленной целью.

1928

ТРУС

В меру
и черны́ и русы,
пряча взгляды,
пряча вкусы,
боком,
тенью,
в стороне,—
пресмыкаются трусы
в славной
смелыми
стране.
Каждый зав
для труса —
туз.
Даже
от его родни
опускает глазки трус
и уходит
в воротник.
Влип
в бумажки
парой глаз,
ног
поджаты циркуля:
«Схорониться б
за приказ...
Спрятаться б
за циркуляр...»
Не поймешь,
мужчина,
рыба ли —

междометья
зря
не выпалит.
Где уж
подпись и печать!
«Только бы
меня не выбрали,
только б
мне не отвечать...»
Ухо в метр
— никак не менее,—
за начальством
ходит сзади,
чтоб, услышав
ихнье
мнение,
завтра
это же сказать им.
Если ж
старший
сменит мнение,
он
усвоит
мненье старшино:
— Мненье —
это не именье,
потерять его
не страшно.—
Хоть грабьте,
хоть режьте возле него,
не будет слушать ни плач,
ни вой.
«Наше дело
маленькое —
я сам по себе
не великий немой,
и рот
водою
наполнен мой,
вроде
умывальника я».

Трус
 оброс
 бумаг
 корою.
 «Где решать?!
 Другие пусть.
 Вдруг не выйдет?
 Вдруг покроют?
 Вдруг
 возьму
 и ошибусь?»
 День-деньской
 сплетает тонко
 узы
 самых странных свадеб —
 увязать бы
 льва с ягненком,
 с кошкой
 мышь согласовать бы.
 Весь день
 сердечко
 ужас кроит,
 предлогов для трепета —
 кипа.
 Боятся автобусов
 и Эркай,
 начальства,
 жены
 и гриппа,
 месткома,
 домкома,
 просящих взаймы,
 кладбища,
 милиции,
 леса,
 собак,
 погоды,
 сплетен,
 зимы
 и
 показательных процессов.

Подрожит
и ляжет житель,
дрожью
ночь
корежит тело...
Товарищ,
чего вы дрожите?
В чем, собственно,
дело?
В аквариум,
что ли, сажать вас?
Революция требует,
чтобы имелась
смелость,
смелость и еще раз —
с-м-е-л-о-с-т-ь.

1928

КАЗАНЬ

Стара,
 коса,
стоит
 Казань.
Шумит
 бурун:
«Шурум...
 бурум...»
По-родному
 тараторя,
снегом
 лужи
 намарав,
у подворья
 в коридоре
люди
 смотрят номера.
Кашляя
 в рукава,
входит
 робковат,
глаза таращит.
Приветствую товарища.

Я
 в языках
 не очень натаскан —
что норвежским,
 что шведским мажъ.

Входит татарин:

«Я

на татарском

вам

прочитаю

«Левый марш».

Входит второй.

Косой в скуле.

И говорит,

в карманах порыскав:

«Я —

мариец.

Твой —

левый

дай

тебе

прочту по-марийски».

Эти вышли.

Шедших этих

в низкой двери

встретил третий.

«Марш

ваш —

наш марш.

Я —

чуваш,

послушай,

уважь.

Марш вашинский

так по-чувашски...»

Как будто

годы

взял за чуб я,

— станьте

и не пылите-ка! —

рукою

своею собственной

щупаю

бестелое слово

«политика».

Народы,
 жившие въямясь в нужду,
притершись
 Уралу ко льду,
ворвались в дверь,
 идя
 на штурм,
на камень,
 на крепость культур.
Крива,
 коса,
стоит
 Казань.
Шумит
 бурун:
«Шурум...
 бурум...»

1928

ЕВПАТОРИЯ

Чуть вздыхает волна,
и, вторя ей,
ветерок
над Евпаторией.
Ветерки эти самые
рыскают,
гладят
щеку евпаторийскую.
Ляжем
пляжем
в песочке рыться мы
бронзовыми
евпаторийцами.
Скрип уключин,
всплески
и крики —
развлекаются
евпаторийки.
В дым черны,
в тюбетейках ярких
караимы
евпаторьяки.
И сравнясь,
загорают рьяней
москвичи —
евпаторьяне.
Всюду розы
на ножках тонких.
Радуются
евпаторёнки.

Все болезни
 выжмут
 горячие
грязи
 евпаторячьи.
Пуд за лето
 с любого толстого
соскребет
 евпаторство.
Очень жаль мне
 тех,
 которые
не бывали
 в Евпатории.

Евпатория, 3/VIII
1928

ЗЕМЛЯ НАША ОБИЛЬНА

Я езжу
по южному
берегу Крыма —
не Крым,
а копия
древнего рая.
Какая фауна,
флора
и климат!
Пою,
восторгаясь
и озирая.
Огромное
синее
Черное море,
часы
и дни
берегами едем,
слезай,
освежайся,
ездой умóрен...
— Простите, товарищ,
купаться негде.—
Окурки
с бутылками
градом упали,—
здесь
даже
корове
лежать не годится,

а сядешь в кабинку —
тебе
из купален
вопьется
заноза-змея
в ягодицу.
Огромны
сады
в раю Симферопольском,
пудами
плодов
обвисают к лету.
Иду
по ларькам
Евпатории
обыском —
хоть четверть персика!
Персигов нету.
Побегал,
хоть версты
меряй на счетчике!
А персик
мой
на базаре и во поле,
слезой
обливая
пушистые щечки,
за час езды
гниет в Симферополе.
Громада
дворцов
отдыхающим нравится.
Прилег
и вскочил от кусачей тоски ты,
и крик
содрогает
спокойствие здравницы:
— Спасите,
на помощь,
съели москиты! —

Но вас
успокоят
тревожа разумностью критики,
свечой
паутину и пыль:
«Какие же ж
это,
товарищ,
москитики,
они же ж,
товарищ,
просто клопы!»
В душе
сомнений
переполох.
Контрасты —
черт задери их!
Страна абрикосов,
дюшесов
и блох,
здоровья
и дизентерии.
Республику
нашу
не спрятать под ноготь,
шестая
мира
покроется ею.
О,
до чего же
всего у нас много,
и до чего же ж
мало умеют!

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Нет,
 не те «молодежь»,
кто, забившись
 в лужайку да в лодку,
начинает
 под визг и галдеж
прополаскивать
 водкой
 глотку.

Нет,
 не те «молодежь»,
кто весной
 ночами хорошими,
раскривлявшись
 модой одеж,
подметают
 бульвары
 клешамн.

Нет,
 не те «молодежь»,
кто восхода
 жизни зарево,
услыхав в крови
 зудеж,
на романы
 разбазаривает.

Разве
 это молодость?
 Нет!

Мало
быть
восемнадцати лет.
Молодые —
это те,
кто бойцовым
рядам поределым
скажет
именем
всех детей:
«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодежь —
это имя —
дар
тем,
кто влит в боевой КИМ,
тем,
кто бьется,
чтоб дни труда
были радостны
и легки!

1928

ГАЛОПЩИК ПО ПИСАТЕЛЯМ

Тальников
в «Красной нови»
про меня
пишет
задорно и храбро,
что лиру
я
на агит променял,
перо
променял на швабру.
Что я
по Европам
болтался зря,
в стихах
ни вздохи, ни ахи,
а только
грублю,
случайно узря
Шаляпина
или монахинь.
Растет добродушие
с ростом бород.
Чего
обижать
маленького?
Хочу не ругаться,
а, наоборот,
понять
и простить Тальникова.

Вы молоды, верно,
 сужу по мазкам,
 такой
 резвун-шалунишка,
 уроки
 сдаете
 приятным баском
 и любите
 с бонной,
 гулять
 на радость мозгам,
 в коротких штанишках.
 Чему вас учат,
 милый барчук?
 Я
 вас
 расспросить хочу.
 Успела ли
 бонна
 вам рассказать
 (про это
 и песни поются),—
 вы знаете —
 10 лет назад
 у нас
 была
 революция.
 Лиры
 крыл
 пулемет-обормот,
 и, взяв
 лирические манатки,
 сбежал Северянин,
 сбежал Бальмонт
 и прочие
 фабриканты патоки.
 В Европе
 у них
 ни агиток, ни швабр —
 чиста
 ажурная строчка без шва.

Одни
хореи да ямбы.
Туда бы,
к ним бы,
да вам бы.
Оставшихся
жала
белая рать
и с севера
и с юга.
Нам
требовалось переорать
и вьюги,
и пушки,
и руганы!
Их стих,
как девица,
читай на диване,
как сахар
за чаем с блюдца,—
а мы
писали
против плеваний,
ведь, сволочи,
все плюются.
Отбившись,
мы ездим
по странам по всем,
которые
в картах наляпаны,
туда,
где пасутся
долларным посевом
любимые вами
Шляпины.
Не для романсов,
не для баллад
бросаем
свои якоря мы:
лощеным ушам
наш стих грубоват

и рифмы
будут корявыми.
Не лезем
мы
по музеям,
на коллизии глаза.
Мой лозунг:
одну разглазей-ка
к революции лазейку...
Теперь
для меня
равнодушная честь,
что чуждые
рифмы рожу я.
Мне
как бы
только
почище уесть,
уесть покрупнее буржуя.
Поэту,
по-моему,
слабый плюс
торчать
у веков на выкате.
Прощайте, Тальников,
я тороплюсь,
а вы
без меня чирикайте.
С поэта
и на поэта
в галоп
скачите,
сшибайтесь лоб о лоб.
Но
скидывайте галоши,
скача
по стихам, как лошадь.
А так скакать
неопратно,—
от вас
по журналам...
1928 пятна.

ПОДЛИЗА

Этот сорт народа —
 тих
и бесформен,
 словно студень;
очень многие
 из них
в наши
 дни
 выходят в люди.
Худ умом
 и телом чахл
Петр Иванович Болдашкин.
В возмутительных прыщах
зря
 краснеет
 на плечах
не башка —
 а набалдашник.
Этот
 фрукт
 теперь согрет
солнцем
 нежного начальства.
Где причина?
 В чем секрет?
Я
 задумываюсь часто.
Жизнь
 его
 идет на лад;

на него
 не брошу тень я.
Клад его —
 его талант,
нежный
 способ
 сбхожденья.
Лижет ногу,
 лижет руку,
лижет в пояс,
 лижет ниже,
как кутенок
 лижет
 суку,
как котенок
 кошку лижет.
А язык
 на метров тридцать
догонять
 начальство
 вылез,
мыльный весь,
 аж может бриться,
даже
 кисточкой не мылась.
Все похвалит, впавши
 в раж,
что
 фантазия позволит,—
ваш катар,
 и чин,
 и стаж,
вашу доблесть
 и мозоли.
И ему
 пошли
 чины,
на него
 в быту
 равненье.

Где-то
 будто
 вручены
чуть ли не —
 бразды правленья.
Раз
 уже
 в руках вожжа,
всех
 сведи
 к подлизным взглядам,
расклюнявит —
 уважать,
уважать
 начальство
 надо!
Мы
 глядим,
 уныло ахая,
как растет
 от ихней братии
архи-разиерархия
в издевательстве
 над демократией.

Вея шваброй
 верхом,
 низом,
сместь бы
 всех,
 кто поддались,
всех,
 радеющих подлизам,
всех
 радетельских
 подлиз.

1928

СТОЛП

Товарищ Попов
 чуть-чуть не от плуга.
Чуть
 не от станка
 и сохи.
Он —
 даже партиец,
 но он
 перепуган,
брюзжит
 баритоном сухим:
«Раскроешь газетину —
 в критике вся,
любая
 колеблется
 глыба.
Кроют.
 Кого?
 Аж волосья
встают
 от фамилий
 дыбом.
Ведь это —
 подрыв,
 подкоп ведь это...
Критику
 осторожненько
 дóлжно вести.

А эти
критикуют
не щадя авторитета,
ни чина,
ни стажа,
ни должности.
Критика
снизу —
это яд.
Сверху —
вот это лекарство!
Ну, можно ль
позволить
низам, —
подряд
всем! —
заниматься критиканством?!
О мерзостях
наших
трубим и поем.
Иди
и в газетах срамись я!
Ну, я ошибся...
Так в тресте ж
в моем
имеется
ревизионная комиссия!
Ведь можно ж,
не задевая столпов,
в кругу
своих
братишек
вызвать,
сказать:
— Товарищ Попов,
орудуй...
тово...
потихе...—
Пристали
до тошноты,
до рвот...

Обмазывают
 кистью густою.
Товарищи,
 ведь это же ж
 подорвет
государственные устои!
Кого критикуют? —
 вопит, возомня,
аж голос
 визжит
 тенорком. —
Вчера —
 Иванова,
 сегодня —
 меня,
а завтра —
 Совнарком!»
Товарищ Попов,
 оставьте скулеж.
Болтовня о подрывах —
 ложь!
Мы всех зовем,
 чтоб в лоб,
 а не пятась,
критика
 дрянь
 косила, —
и это
 лучшее из доказательств
нашей
 чистоты и силы.

1

1

он
 прибавит от себя
 пуд
 пикантнейших деталей.
 «Ну...—
 начнет,
 пожавши руки,—
 обхохочете живот:
 Александр
 Петрович
 Брюкин —
 с секретаршею живет.
 А Иван Иванович Тестов,
 первый
 в тресте
 инженер,
 из годичного отъезда
 возвращается к жене.
 А у той,
 простите,
 скоро
 прибавленье...
 Быть возне.
 Кстати, вот что —
 целый город
 говорит,
 что раз
 во сне...»
 Скрыл
 губу
 ладоней ком,
 стал
 от страха
 остролицым.
 Новость —
 предъявил
 губком
 ультиматум
 австралийцам.
 Прослунявив новость
 вкупе

ПАРИЖАНКА

Вы себе представляете
с шеей разжемчуженной,
парижских женщин
разбриллиантенной
рукой...

Бросьте представлять себе:
жизнь
жестче —
у моей парижанки —
вид другой.

Не знаю, право,
молода
или стара она,
до желтизны
отшлифованная
в лощеном хамье.

Служит
она
в уборной ресторана,
маленького ресторана —
Гранд-Шомьер.

Выпившим бургундского
может захотеться
для облегчения
пойти пройтись.

Дело мадмуазель
подавать полотенца;
она
в этом деле
просто артист.

Пока
 у трюмо
 разглядываешь прыщик,
 она,
 разулыбив
 облупленный рот,
 пудрой подпудрит,
 духами попрыщет,
 подаст пипифакс
 и лужу подотрет.
 Раба чревоугодий
 торчит без солнца,
 в клозетной шахте
 по суткам
 клопая.
 За пятьдесят сантимов —
 по курсу червонца
 с мужчины
 около
 четырех копеек!
 Над умывальником
 ладони омывая,
 дыша
 диковиной
 парфюмерных зелий,
 над мадмуазелью
 недоумеая,
 хочу
 сказать
 мадмуазели:
 — Мадмуазель,
 ваш вид,
 извините,
 жалок.
 На уборную молодость
 губить не жалко вам?
 Или
 мне
 наврали про парижанок,
 или
 вы, мадмуазель,
 не парижанка.

Выглядите вы
 туберкулезно
 и вяло.
 Чулки шерстяные...
 Почему не шелка?!
 Почему
 не шлют вам
 пармских фиалок
 благодарные мусью
 от полного кошелька? —
 Мадмуазель молчала,
 грохот поваливал
 на трактир,
 на потолок,
 на нас.
 Это,
 кружа
 веселье карнавалово,
 весь
 в парижанах
 гудел Монпарнас.
 Простите, пожалуйста,
 за стих раскрежещенный
 и
 за описанные
 вонючие лужи.
 Но очень
 трудно
 в Париже
 женщине,
 если
 женщина
 не продается,
 а служит.

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ
ИЗ ПАРИЖА
О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Простите
 меня,
 товарищ Костров,
с присущей
 душевной ширью,
что часть
 на Париж отпущенных строк
на лирику
 я
 растранжирю.
Представьте:
 входит
 красавица в зал,
в меха
 и бусы оправленная.
Я
 эту красавицу взял
 и сказал:
— правильно сказал
 или неправильно? —
Я, товарищ,—
 из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
 девиц красивей,
я видал
 девиц стройнее.
Девушкам
 поэты любви.

Я ж умен
 и голосист,
 заговариваю зубы —
 только
 слушать согласись.
 Не поймать
 меня
 на дряни,
 на прохожей
 паре чувств.
 Я ж
 навек
 любовью ранен —
 еле-еле волочусь.
 Мне
 любовь
 не свадьбой мерить:
 разлюбила —
 уплыла.
 Мне, товарищ,
 в высшей мере
 наплевать
 на купола.
 Что ж в подробности вдаваться,
 шутки бросьте-ка,
 мне ж, красавица,
 не двадцать,—
 тридцать...
 с хвостиком.
 Любовь
 не в том,
 чтоб кипеть крутей,
 не в том,
 что жгут угольями,
 а в том,
 что встает за горами грудей
 над
 волосами-джунглями.
 Любить —
 это значит:
 вглубь двора

вбежать
и до ночи грачей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простынь,
бессонницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Ивановны,
считая
своим
соперником.
Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выставший мотор.
Вы
к Москве
порвали нить.
Годы —
расстояние.
Как бы
вам бы
объяснить
это состояние?
На земле
огней — до неба...
В синем небе
звезд —
до черта.

Если б я
 поэтом нѣ был,
я бы
 стал бы
 звездочетом.
Поднимает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
 стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
 авто
 по улице,
а не свалят нѣземь.
Понимают
 умницы:
человек —
 в экстазе.
Сонм видений
 и идей
полон
 до крышки.
Тут бы
 и у медведей
выросли бы крылышки.
И вот
 с какой-то
 грошовой столовой,
когда
 докипело это,
из зева
 до звезд
 взвивается слово
золоторожденной кометой.
Распластан
 хвост
 небесам на треть,
блестит
 и горит оперенье его,
чтоб двум влюбленным
 на звезды смотреть

из ихней
беседки сиреновой.
Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.
Себя
до последнего стука в груди,
как на свиданьи,
простаивая,
прислушиваюсь:
любовь загудит —
человеческая,
простая.
Ураган,
огонь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет
совладать?
Можете?
Попробуйте...

1928

КРАСАВИЦЫ
РАЗДУМЬЕ НА ОТКРЫТИИ
Grand Opéra

В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По Гранд
 по Опере
гуляю грандом.
Смотрю
 в антракте —
красавка на красавице.
Размяк характер —
все мне —
 нравится.
Талии —
 кубки.
Ногти —
 в глянце.
Крашенные губки
розою убиганятся.
Ретушь —
 у глаза.
Оттеняет синь его.
Спины
 из газа
цвета лососиньего.
Упадая
 с высоты,
пол
 метут
 шлейфы.

От такой
красоты
сторонитесь, рефы.
Повернет
в брильянтах уши,
пошевелился, шая,
на грудишке
ряд жемчужин
обнажают
шеншили.
Платье —
пухом.
Не дыши!
Аж на старом
на морже
только «фай»
да «креп-де-шин»,
только
облако «жоржет».
Брошки блещут...
— на тебе! —
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы...
голову.

СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ

Лошадь
 сказала,
 взглянув на верблюда:
«Какая
 гигантская
 лошадь-ублюдок».
Верблюд же
 вскричал:
 «Да лошадь разве ты?!
Ты
 просто-напросто —
 верблюд недоразвитый».

И знал лишь
 бог седобородый,
что это
 животные
 разной породы.

1929

ВОНЗАЙ САМОКРИТИКУ!

Наш труд
 сверкает на «Гиганте»,
сухую степь
 хлебами радуя.
Наш труд
 блестит.
 Куда ни гляньте,
встает
 фабричною оградой.
Но от пятна
 и солнца блеск
не смог
 застраховаться,—
то ляпнет
 нам
 пятно
 Смоленск,
то ляпнут
 астраханцы.
Болезнь такая
 глубока,
не жди,
 газеты пока
статейным
 гноем вытекут,—
ножом хирурга
 в бока
вонзай самокритику!

Не на год,
 не для видика
такая
 критика.
Не нам
 критиковать, крича
для спорта
 горластого,
нет,
 наша критика —
 рычаг
и жизни
 и хозяйства.
Страна Советов,
 чисть себя —
нутро и тело,
чтоб, чистотой
 своей
 блестя,
республика глядела.
Чтоб не шатать
 левой,
 правей
домину коммунизма,
шатающихся
 проверь
своим
 рабочим низом.
Где дурь,
 где белых западня,
где зава
 окружит родня,—
вытравливай
 от дня до дня
то ласкою,
 то плетью,
чтоб быстро бы
 страну
 поднять,
идя
 по пятилетию.

Нам
критика
из года в год
нужна,
запомните,
как человеку —
кислород,
как чистый воздух —
комнате.

1929

УРОЖАЙНЫЙ МАРШ

Добьемся урожая мы,—
втройне,

земля,
рожай!

Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!
Чтоб даром не потели мы
по одному,

по два,—
колхозами,

артелями
объединись, братва.
Земля у нас хорошая,
землица неплоха,
да надобно

под рожь ее
заранее вспахать.
Чем жить, зубами щелкая
в голодные года,
с проклятою

с трехполкою
покончим навсегда.
Вредителю мы

начисто
готовим карачун.
Сметем с полей

кулачество,
сорняк
и саранчу.

Разроем складов завали.
От всех

ответа ждем,
чтоб тракторы
не ржавели
впустую под дождем.
Поля

пройдут науку
под ветром-игруном.
Даешь

на дружбу руку,
товарищ агроном!
Земля

не хочет более
терпеть
плохой уход,—
готовься,

комсомолия,
в передовой поход.
Кончай

с деревней серенькой,
вставай,
который сер!

Вперегонки
с Америкой
иди, СССР!

Добьемся урожая мы,—
втройне,
земля,

рожай!
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!

РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате:
я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула,
радостью высвечен, —
хочется
идти,
приветствовать,
рапортовать!

«Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адская
будет
сделана
и делается уже.
Освещаем,
одеваем нищ и бголь,
ширится
добыча
угля и руды.
А рядом с этим,
конечно,
много,
много
разной
дряни и ерунды.
Устаешь
отбиваться и отгрызаться.
Многие
без вас
отбились от рук.
Очень
много
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.
Нет у им
ни числа,
ни клички,
целая
лента типов
тянется.
Кулаки и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяницы,—

ходят,
гордо
выпятив груди,
в ручках сплошь
и в значках нагрудных.
Мы их
всех,
конечно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасно трудно.
Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,
по землям,
покрытым
и снегом
и жнивьем,
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем
думаем,
дышим,
боремся
и живем!»

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате:
я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

АМЕРИКАНЦЫ УДИВЛЯЮТСЯ

Обмерив
с далекого берега,
СССР
глазами выев,
привстав на цыпочки,
смотрит Америка,
не мигая,
в очки роговые.
Что это за люди
породы редкой
копошатся стройкой
там,
псбдаль?
Пофантазировали
с какой-то пятилеткой,
а теперь
выполняют
в 4 года!
К таким
не подойдешь
с американской меркою.
Их не соблазняют
ни долларом,
ни гривною,
а они
во всю
человечью энергию
круглую
неделю
дуют в непрерывную.

Что это за люди?

Какая закалка!

так

Их

никакая палка,—

а они

в стальной дисциплине!

Мистеры,

практикуется исстари

деньгой

строительный норв.

Вы

пухлые мистеры,

корни

НАШИХ КОММУНАРОВ.

Буржуи,

коммунистическому берегу —

на работе,

В вагоне

вашу

знаменитую Америку

МЫ

и перегоним.

НА ЗАПАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Как совесть голубя,
 чист асфальт.
Как лысина банкира —
 тротуара плиты
(после того,
 как трупы
 на грузовозы взвелят
и кровь отмоют
 от плит поли́тых).
В бульварах
 буржуеныши,
 под нянин сказ,
медведям
 игрушечным
 глядят плюшки
(после того,
 как баллоны
 заполнил газ
и в полночь
 прогрохали
 к Польше
 пушки).
Миротворцы
 сияют
 цилиндровым глянцем,
мозолят язык,
 состязаясь с мечом

(после того,
 как посланы
 винтовки афганцам,
а бомбы —
 басмачам).
Сидят
 по кафе
 гусары спешенные.
Пехота
 развлекается
 в штатской лени.
А под этой
 идиллией —
 взليхораденно-бешеные
военные
 приготовления.
Кровавых капель
 пунктирный путь
ползет по земле, —
 недаром кругла!
Кто-нибудь
 кого-нибудь
подстреливает
 из-за угла.
Целят —
 в сердце.
 В самую точку.
Одно
 стрельбы командирам
 надо —
бунтовщиков
 смирив в одиночку,
погнать
 на бойню
 баранье стадо.
Сегодня
 кровишка
 мелких стычек,
а завтра,
 в толпы
 танки тыча,

кровищи
 вкус
 война поймет,—
 пойдет
 хлестать
 с бронированных птичек
 железа
 и газа
 кровавый помет.
 Смотри,
 выступает
 из близких лет,
 костями постукивает
 лошадь-краса.
 На ней
 войны
 пожелтый скелет,
 и сталью
 синеет
 смерти коса.
 Мы,
 излюбленное
 пушечное лакомство,
 мы,
 оптовые потребители
 костылей
 и протез,—
 мы
 выйдем на улицу,
 мы
 1 августа
 аж к небу
 гвоздями
 прибьем протест
 Долой
 политику
 пороховых бочек!
 Довольно
 дома
 пугливо щуплиться!

Мы
требуем мира.

мы
в роты сожмемся,
сжавши рот.

ОДИН
ВОССТАВШИЙ
рабочий фронт.

РАССКАЗ О КУЗНЕЦКОМ СТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

К этому месту будет подвезено в
пятилетку 1 000 000 вагонов строи-
тельных материалов. Здесь будет ги-
гант металлургии, угольный гигант и
город в сотни тысяч людей.

Из разговора.

По небу
 тучи бегают,
дождями
 сумрак сжат.
Под старою
 телегою
рабочие лежат.
И слышит
 шепот гордый
вода
 и под
 и над:
«Через четыре
 года
здесь
 будет
 город-сад!»
Темно свинцовоночие,
и дождик
 толст, как жгут;
сидят
 в грязи
 рабочие,
сидят,
 лучину жгут.

Сливеют
 губы
 с холода,
но губы
 шепчут в лад:
«Через четыре
 года
здесь
 будет
 город-сад!»
Свела
 промозглость
 корчею —
неважный
 мокр
 уют,
сидят
 впотьмах
 рабочие,
подмокший
 хлеб
 жуют.
Но шепот
 громче голода, —
он кроет
 капель
 спад:
«Через четыре
 года
здесь
 будет
 город-сад!
Здесь
 взрывы закудахтают
в разгон
 медвежьих банд,
и взроет
 недра
 шахтою
стоугольный
 «Гигант».

Здесь
встанут
стройки
стенами.

Гудками,
пар,
сипи.

Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.

Здесь дом
дадут
хороший нам

и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга».

Рос
шепоток
рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво,
лишь слышно —
«город-сад».

Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвезть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

СТИХИ
О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
 выгрыз
 бюрократизм.
К мандатам
 почтения нету.
К любым
 чертям с матерями катись
любая бумажка.
 Но эту...

По длинному фронту
 купе
 и кают
чиновник
 учтивый
 движется.
Сдают паспорта,
 и я
 сдаю
мою
 пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
 улыбка у рта.
К другим —
 отношение плёвое.
С почтеньем
 берут, например,
 паспорта
с двуспальным
 английским лёвою...

Глазами
 добрého дядю вьев,
не переставая
 кланяться,
берут,
 как будто берут чаевые,
паспорт
 американца.
На польский —
 глядят,
 как в афишу коза.
На польский —
 выпяливают глаза
в тугой
 полицейской слонóвости —
откуда, мол,
 и что это за
географические новости?
И не повернув
 головы кочан
и чувств
 никаких
 не изведав,
берут,
 не моргнув,
 паспорта датчан
и разных
 прочих
 шведов.
И вдруг,
 как будто
 ожогом,
 рот
скривило
 господину.
Это
 господин чиновник
 берет
мою
 краснокожую паспортину.

Берет —
 как бомбу,
 берет —
 как ежа,
как бритву
 обоюдоострую,
берет,
 как гремучую
 в 20 жал,
змею
 двухметроворостую.
Моргнул
 многозначаше
 глаз носильщика,
хоть вещи
 снесет задаром вам.
Жандарм
 вопросительно
 смотрит на сыщика,
сыщик
 на жандарма.
С каким наслаждением
 жандармской кастой
я был бы
 исхлестан и распят
за то,
 что в руках у меня
 молоткастый,
серпастый
 советский паспорт.

Я волком бы
 выгрыз
 бюрократизм.
К мандатам
 почтения нету.
К любым
 чертям с матерями
 катись
любая бумажка.
 Но эту...

я
достаю из широких штанин
дубликатом бесценного груза.
Читайте, завидуйте,
я — гражданин
Советского Союза.

1929

МАРШ УДАРНЫХ БРИГАД

Вперед
тракторами по целине!
Домны
коммуне
подступом!
Сегодня
бейся, революционер,
на баррикадах
производства.
Раздувай
коллективную
грудь-меха,
лозунг
мчи
по рабочим взводам.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам!
Вперед,
в египетскую
русскую темь,
как
гвозди,
вбивай
лампы!
Шаг держи!
Не теряй темп!
Перегнуть
пятилетку
нам бы!

Распрабабкиной техники
скидывай хлам.
Днепр,
турбины
верти по заводьям.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам!
Вперед!
Коммуну
из времени
вод
не выловишь
золото-рыбкою.
Накручивай,
наворачивай ход
без праздников —
непрерывкою.
Трактор —
туда,
где корпела соха,
хлеб
штурмуй
колхозным
походом.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам!
Вперед
беспрогульным
гигантским ходом!
Не взять нас
буржуевым гончим!
Вперед!
Пятилетку
в четыре года
выполним,
вымчим,
закончим.

Электричество
 лей,
 река-лиха́!
Двигай фабрики
 фырком зловодым.
От ударных бригад
 к ударным цехам,
от цехов
 к ударным заводам!
Энтузиазм,
 разрастайся и длись
фабричным
 сияньем радужным.
Сейчас
 подымается социализм
живым,
 настоящим,
 правдошним.
Этот лозунг
 неси
 бряцаньем стиха,
размалюй
 плакатным разводом.
От ударных бригад
 к ударным цехам,
от цехов —
 к ударным заводам!

1929—1930

ПТИЧКА БОЖИЯ

Он вошел,
 склонясь учтиво.
Руку жму.
 «Товарищ —
 сядьте!
Что вам дать?
 Автограф?
 Чтиво?»
«Нет.
 Мерси вас.
 Я —
 писатель».
«Вы?
 Писатель?
 Извините.
Думал —
 вы пижон.
 А вы...
Что ж,
 прочтите,
 зазвените
грозым
 маршем
 боевым.
Вихрь идей
 у вас,
 должно быть.
Новостей
 у вас
 вагон.

Что ж,
 пожалте в уха в оба.
Рад товарищу».

А он:

«Я писатель.
 Не прозаик.

Нет.
 Я с музами в связи.

Слог
 изыскан, как борзая
«сконапёль
 ля поэзи».

На затылок
 нежным жестом

он
 кудрей
 закинул шелк,

стал
 барашком златошерстым
и заблеял,
 и пошел.

Что луна, мол,
 над долиной,

мчит
 ручей, мол,
 по ущелью.

Тинтидликал
 мандолиной,
дундудел виолончелью.

Нимб
 обвил
 волосьев копны.

Лоб
 горел от благородства.

Я терпел,
 терпел
 и лопнул

и ударил
 лапой
 об стол.



*В. Маяковский на выставке „20 лет работы“
Фото 1930 года*

ЛЕНИНЦЫ

Если блокада
 нас не сморила,
если
 не сожрала
 война горяча,—
это потому,
 что примером,
 мерилом
было слово
 и мысль Ильича.
— Вперед
 за республику
 левой атак!
На первый
 военный клич! —
Так
 велел
 защищаться
 Ильич!
Втрое,
 каждый
 станок и верстак,
работу
 свою
 увеличы!
Так
 велел
 работать
 Ильич.

Наполним
 нефтью
 республики бак!
 Уголь,
 расти от добыч!
 Так
 работать
 велел Ильич!
 «Снижай себестоимость,
 выведи брак!» —
 гудков
 вызывает
 зыч,—
 так
 работать
 звал Ильич.
 Комбайном
 на общую землю наляг.
 Огнем
 пустыри расфабричь!
 Так
 Советам
 велел Ильич.
 Сжимай экономией
 каждый пятак.
 Траты
 учись стричь,—
 так
 хозяйничать
 звал Ильич.
 Огнями ламп
 просверливай мрак,
 республику
 разэлектричь,—
 так
 велел
 рассветиться
 Ильич.
 Религия — опиум,
 религия — враг,

довольно
поповских притч,—
так
жить
велел Ильич.
Достань
бюрократа
под кипой бумаг,
рабочей
ярости
бич,—
так
бороться
велел Ильич.
Не береги
от критики
лак,
чин
в оправданье
не тычь,—
так
велел
держаться
Ильич.
«Слева»
не рви
коммунизма флаг,
справа
в уныньи не хнычь,—
так
идти
наказал Ильич.
Намордник фашистам!
Довольно
ссбак
спускать
на рабочую «дичь»!
Так
велел
наступать Ильич.

Не хнычем,
а торжествуем
и чествуем.
Ленин с нами,
бессмертен и величав.
По всей вселенной
ширится шествие —
мыслей,
слов
и дел Ильича.

1929—1930

Во весь
медногорлый
гудочный клич,
всеми
раскатами
тракторного храпа,
тебе, товарищ
Владимир Ильич,
сегодня
республика
делает рапорт.
Новь
пробивается
во все углы.
Строй
старья
разболтан.
Обещаем тебе,
работники иглы,
работники серпа
и молота:
— Мы счистим
подлиз
и вредителей слизь,
мы труд
разупорствуем
второе,
но твой
человеческий
социализм
на всей
планете
построим!

1930

МАРШ ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТЫСЯЧ

Мы выбили
 белых
 орлов да ворон,
в боях
 по степям пролетали.
На новый,
 ржаной,
 недосеянный фронт
сегодня
 вставай, пролетарий!
Довольно
 по-старому
 землю копать
да гнуть
 над сохою
 спинищи!
Вперед, 25! Вперед, 25!
Стальные
 рабочие тыщи!
Не жди,
 голодая,
 кулацких забот,
не жди
 избавления с неба.
Колхоз
 голодуху
 мешками забьет,
мешками
 советского хлеба.

На лошадь
 стальную
 уверенно сядь,
на пашне
 пыхти, тракторище.
Вперед, 25
 Вперед, 25!
Стальные
 рабочие тыщи!
Батрак
 и рабочий —
 по крови родня,
на фронте
 смешались костями.
Рабочий,
 батрак,
 бедняк
 и средняк —
построим
 коммуну крестьян мы.
Довольно
 деревне
 безграмотной спать
да богу
 молиться о пище!
Вперед, 25!
 Вперед, 25!
Стальные
 рабочие тыщи!
Враги наступают,
 покончить пора
с их бандой
 попово-кулачьей.
Пусть в тысячи сил
 запыхтят трактора
наместо
 заезженной клячи.
Кулак наготове,—
 смотрите,
 опять
с обрезом
 задворками рыщет.

На фронт, 25!
Вперед, 25!
Стальные
рабочие тыщи!
Под жнейкой
машинною,
жатва, вались,
пусть хлеб
урожается втрое!
Мы солнечный
Ленинский социализм
на пашне
советской построим.
Мы раем
разделаем
каждую пядь
любой
деревушки разницей.
Вперед, 25!
Вперед, 25!
Стальные
рабочие тыщи!

1930

СТИХИ ДЕТЯМ

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Крошка сын
 к отцу пришел,
и спросила кроха:
— Что такое
 х о р о ш о
и что такое
 п л о х о? —
У меня
 секретов нет,—
слушайте, детишки,—
папы этого
 ответ
помещаю
 в книжке.

— Если ветер
 крыши рвет,
если
 град загрохал,—
каждый знает —
 это вот
для прогулок
 плохо.

Дождь покапал
и прошел.
Солнце
в целом свете.
Это —
очень хорошо
и большим
и детям.

Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на рожице,—
ясно,
это
плохо очень
для ребячьей кожицы.

Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.

Если бьет
дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.

Этот вот кричит:
— Не трожь
тех,
кто меньше ростом! —

Этот мальчик
 так хорош,
загляденье просто!

Если ты
 порвал подряд
книжицу
 и мячик,
октябрюта говорят:
плоховатый мальчик.

Если мальчик
 любит труд,
тычет
 в книжку
 пальчик,
про такого
 пишут тут:
он
 хороший мальчик.

От вороны
 карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
 просто трус.

Это
 очень плохо.

Этот,
 хоть и сам с вершок,
спорит
 с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
 хорошо,
в жизни
 пригодится.

Этот
 в грязь полез
 и рад,
что грязна рубаха.

Про такого
 говорят:
он плохой,
 неряха.

Этот
 чистит валенки,
моет
 сам
 галоши.

Он
 хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
 это,
 каждый сын,
знай,
 любой ребенок:
вырастет
 из сына
 свин,
если сын —
 свиненок.

Мальчик
 радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду
 делать х о р о ш о,
и не буду —
 п л о х о».

1925

ЭТА КНИЖЕЧКА МОЯ
ПРО МОРЯ И ПРО МАЯК

1

Разрезая носом воды,
ходят в море пароходы.
Дуют ветры яростные,
гонят лодки парусные.
Вечером,

а также к ночи,
плавать в море трудно очень.
Все покрыто скалами,
скалами немалыми.
Ближе к суше

еле-еле

даже

днем обходят мели.
Капитан берет бинокль,
но бинокль помочь не мог.
Капитану так обидно —
даже берега не видно.
Закружит волна кружение,
вот

и кораблекрушение.
Вдруг —

обрадован маяк:
загорается маяк.
В самой темени как раз
показался красный глаз.
Поморгал —

и снова нет,

и опять зажегся свет.
Здесь, мол, тихо —
все суда
заплывайте вот сюда.

2

Бьется в стены шторм и вой.
Лестницею винтовой
каждый вечер,
ближе к ночи,
на маяк идет рабочий.
Наверху фонарище —
яркий,
как пожарище.
Виден он
во все моря,
нету ярче фонаря.
Чтобы всем заметиться,
он еще и вертится.
Труд большой рабочему —
простоять всю ночь ему.
Чтобы пламя не погасло,
подливает в лампу масло.
И чистит
исключительное
стекло увеличительное.
Всем показывает свет —
здесь опасно или нет.
Пароходы,
корабли
запыхтели,
загребли.
Волны,
как теперь ни ухайте,
все, кто плавал, —
в тихой бухте.
Нет ни волн,
ни вод,
ни грома,
детям сухо,
дети дома.

Кличет книжечка моя:

— Дети,
 будьте как маяк!

Всем,
 кто ночью плыть не могут,
освещай огнем дорогу.—

Чтоб сказать про это вам,
этой книжечки слова
и рисуночков наброски
сделал

 дядя

Маяковский.

1926

ВОЗЬМЕМ ВИНТОВКИ НОВЫЕ

Возьмем винтовки новые,
на штык флажки.
И с песнею
 в стрелковые
пойдем кружки.
Раз,
 два!
Все
 в ряд!
Впе-
 ред,
от-
 ряд.
Когда
 война-метелица
придет опять,
должны уметь мы целиться,
уметь стрелять.
Ша-
 гай
кру-
 че!
Цель-
 ся
луч-
 ше!
И если двинет армии
страна моя —
мы будем
 санитарами
во всех боях.

Ра-
 нят
в лесу,
к сво-
 им
сне-
 су.
Бесшумною разведкою
тиха нога,
за камнем
 и за веткою
найдем врага.
Пол-
 зу
день,
 ночь
мо-
 им
по-
 мочь.
Блестят винтовки новые,
на них
 флажки.
Мы с песнею
 в стрелковые
идем кружки.
Раз,
 два!
Под-
 ряд!
Ша-
 гай,
от-
 ряд.

1927

МАЙСКАЯ ПЕСЕНКА

Зеленые листики —
и нет зимы.

Идем
раздольем чистеньким
и я,
и ты,
и мы.

Весна сушить развесила
свое мытье.

Мы молодо и весело
идем!

Идем!

Идем!

На ситцах, на бумаге —
огонь на всём.

Красные флаги
несем.

Несем!

Несем!

Улица рада,
весной умытая.

Шагаем отрядом,
и мы,

и ты,

и я.

1928

КЕМ БЫТЬ?

У меня растут года —
будет мне семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Нужные работники —
столяры и плотники!
Сработать мебель мудрено:
сначала

мы

берем бревно
и пилим доски
длинные и плоские.

Эти доски

вот так

зажимает

стол-верстак.

От работы

пила

раскалилась добела.

Рубанок

в руки —

работа другая:

сучки, закорюки

рубанком стругаем.

Хороши стружки,

желтые игрушки!

А если

нужен шар нам

круглый очень,

на станке токарном
круглое точим.
Готовим понемножку
то ящик,
 то ножку.
Сделали вот столько
стульев и столиков!

Столяру — хорошо,
а инженеру —
 лучше.
Я бы строить дом пошел —
пусть меня научат.
Я

 сначала
 начерчу
дом
 такой,
 какой хочу.
Самое главное,
чтоб было нарисовано
здание

 славное,
живое словно.
Это будет
 перёд —
называется фасад.
Это
 каждый разберет:
это — ванна,
 это — сад.

План готов,
 и вокруг
сто работ
 на тыщу рук.
Упираются леса
в самые небеса.
Где трудна работка,
там
 визжит лебедка,
подымает балки,
будто палки,

перетащит кирпичи,
закаленные в печи.
По крыше выложили жечь —
и дом готов,
и крыша есть.

Хороший дом,
большущий дом
на все четыре стороны,
и заживут ребята в нем
удобно и просторно.

Инженеру хорошо,
а доктору —
лучше.
Я б детей лечить пошел —
пусть меня научат.
Детям

я
лечу болезни, —
где занятие полезней?
Я приеду к Пете,
я приеду к Поле.
«Здравствуйте, дети!
Кто у вас болен?
Как живете?
Как животик?»
Погляжу

из очков
кончики язычков.
«Поставьте этот градусник
подмышку, детишки!»
И ставят дети радостно
градусник подмышки.
«Вам бы

очень хорошо
проглотить порошок
и микстуру
ложечкой
пить понемножечку.
Вам
в постельку лечь поспать бы.

Вам —
компрессик на живот,
и тогда
у вас
до свадьбы
все, конечно, заживет».

Докторам хорошо,
а рабочим —
лучше,
я б в рабочие пошел —
пусть меня научат.
Вставай!

Иди!

Гудок зовет —
и мы приходим на завод.
Народа — рота целая,
сто или двести.
Чего один не сделает —
сделаем вместе.
Можем

железо
ножницами резать,
краном висящим
тяжести тащим,
молот паровой
гнет и рельсы травой.
Олово плавим,
машинами правим.
Работа всякого
нужна одинаково.
Я гайки делаю,

а ты —

для гайки
делаешь винты.

И идет
работа всех
прямо в сборочный цех.
Болты,
лезьте
в дыры ровные,

части
вместе
сбей
огромные.
Там
дым,
здесь
гром.
Гро-
мим
весь
дом.
И вот
вылазит паровоз,
чтоб вас
и нас
и нес
и вез.

На заводе хорошо,
а в трамвае —
лучше.
Я б кондуктором пошел —
пусть меня научат.
Кондукторам
езда везде —
с большою сумкой кожаной
ему всегда,
ему весь день
в трамваях ездить можно.
«Большие и дети,
берите билетик,
билеты разные,
бери любые,
зеленые,
красные
и голубые!»
Ездим рельсами.
Окончилась рельса,
и слезли у леса мы —
садись
и грейся.

Кондуктору хорошо,
а шоферу —

лучше.

Я б шофером пошел —
пусть меня научат.

Фырчит машина скорая,
летит, скользя.

Хороший шофер я —
сдержать нельзя.

Только скажите
— вам куда надо? —
без рельсы

жителей

доставлю на дом.

Е-

дем,

ду-

дим:

«С пу-

ти

уй-

ди!»

Быть шофером хорошо,
а летчиком —

лучше.

Я бы в летчики пошел —
пусть меня научат.

Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.

«В небеса, мотор, вези,
чтоб взамен низин
рядом

птицы пели».

Бояться не надо
ни дождя,

ни града,

Облетаю тучку,
тучку-летучку.

Белой чайкой паря,
полетел за моря.

Без разговору
пролетаю гору.
«Вези, мотор,
чтоб нас довез
до звезд
и до луны,
хотя луна
и масса звезд
совсем удалены».

Летчику хорошо,
а матросу —
лучше.
Я б в матросы пошел —
пусть меня научат.
У меня на шапке лента,
на матроске —

якоря.
Я проплавал это лето,
океаны покоря.
Напрасно, волны, скачете,—
на зависть циркачу,
на реях и по мачте
гуляю, как хочу.
Сдавайся, ветер вьюжный,
сдавайся, буря скверная,—
открою
полюс
Южный,
а Северный —
наверное.

Книгу переворошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
на вкус!

ПЕСНЯ-МОЛНИЯ

За море синеволное,
за сто земель

и вод
разлейся, песня-молния.
про пионерский слет.
Идите,

слов не тратя,
на красный
наш костер!

Сюда,
миллионы братьев!
Сюда, миллион сестер!
Китайские акулы,
умерьте
вашу прыть,—

мы
с китайчонком-кули
пойдем
акулу крыть.

Веди
светло и прямо
к работе
и к боям,

моя
большая мама —
республика моя.
Растем от года к году мы,
смотри,
земля-старик,—

садами,
 огородами
сменили пустыри.
Везде
 родные наши,
куда ни бросишь глаз.
У нас большой папаша —
стальной рабочий класс.
Иди
 учиться рядышком,
безграмотная старь.
Пора,
 товарищ бабушка,
садиться за букварь.
Вперед,
 отряды сжатые,
по ленинской тропе!
У нас
 один вожатый —
товарищ ВКП.

1929

**МОЕ ОТКРЫТИЕ
АМЕРИКИ**

МЕКСИКА

Два слова. Моя последняя дорога — Москва, Кенигсберг (воздух), Берлин, Париж, Сантназер, Жижон, Сантандер, Мыс-ла-Коронь (Испания), Гаванна (остров Куба), Вера-Круц, Мехико-сити, Лоредо (Мексика), Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Питсбург, Кливланд (Северо-Американские Соединенные Штаты), Гавр, Париж, Берлин, Рига, Москва.

Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг.

Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор — вещи, интересные сами по себе.

Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно частности.

Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее.

18 дней океана. Океан — дело воображения. И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой.

Но только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида, — только это воображение есть Атлантический океан. Спокойный океан скучен. 18 дней мы ползем, как муха по зеркалу. Хорошо поставленное зрелище было только один раз; уже на обратном пути из Нью-Йорка в Гавр. Сплошной ливень вспенил белый океан, белым заштриховал

небо, сшил белыми нитками небо и воду. Потом была радуга. Радуга отразилась, замкнулась в океане, — и мы, как циркачи, бросались в радужный обруч. Потом — опять пловучие губки, летучие рыбки, летучие рыбки и опять пловучие губки Сарагоссова моря, а в редкие торжественные случаи — фонтаны китов. И все время надоедающая (даже до тошноты) вода и вода.

Океан надоедает, а без него скушно.

Потом уже долго-долго надо, чтобы гремела вода, чтоб успокаивающе шумела машина, чтоб в такт позванивали медяшки люков.

Пароход «Эспань» 14 000 тонн. Пароход маленький, вроде нашего «ГУМа». Три класса, две трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета.

Газета «Атлантик». Впрочем, паршивая. На первой странице великие люди: Балиев да Шалыпин, в тексте описание отелей (материал, очевидно, заготовленный на берегу) да жиденький столбец новостей — сегодняшнее меню и последнее радио, вроде: «В Марокко все спокойно».

Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю ночь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает джаз:

Маркита,
Маркита,
Маркита моя!
Зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...

Классы — самые настоящие. В первом — купцы, фабриканты шляп и воротничков, тузы искусства и монашенки. Люди странные: турки по национальности, говорят только по-английски, живут всегда в Мексике, — представители французских фирм с парагвайскими и аргентинскими паспортами. Это — сегодняшние колонизаторы, мексиканские штучки. Как раньше за грошовые побрякушки спутники и потомки Колумба обирали индейцев, как сейчас за красный галстук, приобщающий негра к европейской цивилизации, на гавайских плантациях сгибают в три погибели краснокожих. Держатся обособленно. В третий и во второй идут только если за хорошенькими

девочками. Второй класс — мелкие коммивояжеры, начинающие искусство и стучающая по ремингтонам интеллигенция. Всегда незаметно от боцманов, бочком втираются в палубы первого класса. Станут и стоят, — дескать, чем же я от вас отличаюсь: воротнички на мне те же, манжеты тоже. Но их отличают и почти вежливо просят уйти к себе. Третий — начинка трюмов. Ищущие работы из Одесс всего света — боксеры, сыщики, негры.

Сами навверх не суются. У заходящих с других классов спрашивают с угрюмой завистью: «Вы с преферанса?». Отсюда поднимаются спертый запашище пота и сапожищ, кислая вонь просушиваемых пеленок, скрип гамаков и походных кроватей, облепивших всю палубу, зарезанный рев детей и шепот почти по-русски урезонивающих матерей: «Уймись ты, кисанка моя, заплаканная».

Первый класс играет в покер и маджонг, второй — в шашки и на гитаре, третий — заворачивает руку за спину, закрывает глаза, сзади хлопают изо всех сил по ладони, — надо угадать, кто хлопнул из всей гурьбы, и узнанный заменяет избиваемого. Советую вузовцам испробовать эту испанскую игру.

Первый класс тошнит куда хочет, второй — на третий, а третий — сам на себя.

Событий никаких.

Ходит телеграфист, орет о встречных пароходах. Можете отправить радио в Европу.

А заведующий библиотекой, ввиду малого спроса на книги, занят и другими делами: разносит бумажку с десятью цифрами. Внеси 10 франков и запиши фамилию; если цифра пройденных миль окончится на твою — получишь 100 франков из этого морского тотализатора.

Мое незнание языка и молчание было истолковано как молчание дипломатическое, и один из купцов, встречая меня, всегда для поддержки знакомства с высоким пассажиром почему-то орал: «Хорош Плевна», — два слова, заученные им от еврейской девочки с третьей палубы.

Накануне приезда в Гаванну пароход оживился. Была дана «Томбола» — морской благотворительный праздник в пользу детей погибших моряков.

Первый класс устроил лотерею, пил шампанское, склонял имя купца Макстона, пожертвовавшего 2000 франков, — имя это было вывешено на доске объявлений, а

грудь Макстона под общие аплодисменты украшена трехцветной лентой с его, Макстоновой, фамилией, тисненной золотом.

Третий тоже устроил праздник. Но медяки, кидаемые первым и вторым в шляпы, третий собирал в свою пользу.

Главный номер — бокс. Очевидно, для любящих этот спорт англичан и американцев. Боксировать никто не умел. Противно — бьют морду в жару. В первой паре парходный кок — голый, щуплый, волосатый француз в черных дырявых носках на голую ногу.

Кока били долго. Минут пять он держался от умения и еще минут двадцать из самолюбия, а потом взмолился, опустил руки и ушел, выплевывая кровь и зубы.

Во второй паре дрался дурак-болгарин, хвастливо открывавший грудь, — с американцем-сыщиком. Сыщика, профессионального боксера, разбирал смех, — он размахнулся, но от смеха и удивления не попал, а сломал собственную руку, плохо сросшуюся после войны.

Вечером ходил арбитр и собирал деньги на поломанного сыщика. Всем объявлялось по секрету, что сыщик со специальным тайным поручением в Мексике, а слечь надо в Гаванне, а безрукому никто не поможет, — зачем он американской полиции?

Это я понял хорошо, потому что и американец-арбитр в соломенном шлеме оказался одесским сапожником-евреем.

А одесскому еврею все надо, — даже вступаться за незнакомого сыщика под тропиком Козерога.

Жара страшная.

Пили воду — и зря: она сейчас же выпаривалась потом.

Сотни вентиляторов вращались на оси и мерно покачивали и крутили головой — обмахивая первый класс.

Третий класс теперь ненавидел первый еще и за то, что ему прохладнее на градус.

Утром, жареные, печеные и вареные, мы подошли к белой и стройками и скалами Гаванне. Подлип таможенный катерок, а потом десятки лодок и лодчонок с гаванской картошкой — ананасами. Третий класс кидал деньги, а потом выуживал ананас веревочкой.

На двух конкурирующих лодках два гаванца ругались на чисто русском языке: «Куда ты прешь со своей ананасной, мать твою...»

Гаванна. Стояли сутки. Брали уголь. В Вера-Круц угля нет, а его надо на шесть дней езды, туда и обратно по Мексиканскому заливу. Первому классу пропуска на берег дали немедленно и всем, с заносом в каюту. Купцы в белой чесуче сбегали возбужденно с дюжинами чемоданчиков — образцов подтяжек, воротничков, граммофонов, фиксатуаров и красных негритянских галстуков. Купцы возвращались ночью пьяные, хвастаясь дареными двухдолларовыми сигарами.

Второй класс сходил с выбором. Пускали на берег нравящихся капитану. Чаше — женщин.

Третий класс не пускали совсем — и он торчал на палубе, в скрежете и грохоте углесосов, в черной пыли, прилипшей к липкому поту, подтягивая на веревочке ананасы.

К моменту спуска полил дождь, никогда не виданный мной тропический дождина.

Что такое дождь?

Это — воздух с прослойкой воды.

Дождь тропический — это сплошная вода с прослойкой воздуха.

Я первоклассник. Я на берегу. Я спасаюсь от дождя в крупнейшем двухэтажном пакгаузе. Пакгауз от пола до потолка начинен «виски». Тайнственные надписи: «Кинг Жорж», «Блэк энд уайт», «Уайт хорс» — чернели на ящиках спирта, контрабанды, вливаемой отсюда в недалекие трезвые Соединенные Штаты.

За пакгаузом — портовая грязь кабаков, публичных домов и гниющих фруктов.

За портовой полосой — чистый богатейший город мира.

Одна сторона — разэкзотическая. На фоне зеленого моря черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу, подымая ее за хвост над собственной головой.

Другая сторона — мировые табачные и сахарные лимитеды с десятками тысяч негров, испанцев и русских рабочих.

А в центре богатств — американский клуб, десятиэтажный Форд, Клей и Бок — первые ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов над всеми тремя — над Северной, Южной и Центральной Америкой.

Им принадлежит почти весь гаванский Кузнецкий мост: длинная, ровная, в кафе, рекламах и фонарях Прадо;

по всей Ведадо, перед их особняками, увитыми розовым каларио, стоят на ножке фламинго цвета рассвета. Американцев берегут на своих низеньких табуретах под зонтиками стоящие полицейские.

Все, что относится к древней экзотике, красочно, поэтично и малоодоходно. Например, красивейшее кладбище бесчисленных Гомецов и Лопецов с черными даже днем аллеями каких-то сплетшихся тропических бородатых деревьев.

Все, что относится к американцам, прилажено прилежно и организовано. Ночью я с час простоял перед окнами гаванского телеграфа. Люди разомлели в гаванской жаре, пишут, почти не двигаясь. Под пстолком на бесконечной ленте носятся зажатые в железных лапках квитанции, бланки и телеграммы. Умная машина вежливо берет от барышни телеграмму, передает телеграфисту и возвращается от него с последними курсами мировых валют. И, в полном контакте с нею, от тех же двигателей вертятся и покачивают головами вентиляторы.

Обратно я еле нашел дорогу. Я запомнил улицу по эмалированной дощечке с надписью «трафико». Как будто ясно — название улицы. Только через месяц я узнал, что «трафико» на тысячах улиц просто указывает направление автомобилей. Перед уходом парохода я сбежал за журналами. На площади меня поймал оборванец. Я не сразу мог понять, что он просит о помощи. Оборванец удивился:

— Ду ю спик инглиш? Парлата эспаньола? Парле ву франсе?

Я молчал и только под конец сказал ломано, чтоб отвязаться: «Ай эм реша!»

Это был самый необдуманый поступок. Оборванец ухватил обеими руками мою руку и заорал:

— Гип большевик! Ай эм большевик! Гип, гип!

Я скрылся под недоуменные и опасливые взгляды прохожих.

Мы отплывали уже под гимн мексиканцев.

Как украшает гимн людей, — даже купцы стали серьезны, вдохновенно повскакивали с мест и орали что-то вроде:

Будь готов, мексиканец,
вскочить на коня...

К ужину давали незнакомые мне еды — зеленый кокосовый орех с намазывающейся маслом сердцевинкой и фрукт манго — шарж на банан, с большой волосатой косточкой.

Ночью я с завистью смотрел пунтир фонарей далеко по правой руке, — это горели железнодорожные огни Флориды.

На железных столбах в третьем классе, к которым прикручивают канаты, сидели вдвоем я и эмигрирующая одесская машинистка. Машинистка говорила со слезой:

— Нас сократили, я голодала, сестра голодала, двоюродный дядька позвал из Америки. Мы сорвались и уже год плаваем и ездим от земли к земле, от города к городу. У сестры — ангина и нарыв. Я звала вашего доктора. Он не пришел, а вызвал к себе. Пришли, говорит — раздевайтесь. Сидит с кем-то и смеется. В Гаванне хотели слезть зайцами — оттолкнули. Прямо в грудь. Больно. Так в Константинополе, так в Александрии. Мы — третьи... Этого и в Одессе не бывало. Два года ждать нам, пока пустят из Мексики в Соединенные Штаты... Счастливы! Вы через полгода опять увидите Россию.

Мексика. Вера-Круц. Жиденький бережок с маленькими низкими домишками. Круглая беседка для встречающих рожками музыкантов.

Взвод солдат учится и марширует на берегу. Нас прикрутили канатами. Сотни маленьких людей в тричетвертиаршинных шляпах кричали, вытягивали до второй палубы руки с носильщическими номерами, дрались друг с другом из-за чемоданов и уходили, подламываясь под огромной клажей. Возвращались, вытирали лицо и орали и кланчили снова.

— Где же индейцы? — спросил я соседа.

— Это индейцы, — сказал сосед.

Я лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майн-Риду. И вот стою, оторопев, как будто перед моими глазами павлинов переделывают в куриц.

Я был хорошо вознагражден за первое разочарование. Сейчас же за таможенной пошла непонятная, своя, изумляющая жизнь.

Первое — красное знамя с серпом и молотом в окне двухэтажного дома.

Ни к каким советским консульствам это знамя никак не относится. Это «организация Поралья». Мексиканец въезжает в квартиру и выкидывает флаг.

Это значит:

«Въехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду». Вот и все.

Попробуй — вышиби.

В крохотной тени от стен и заборов ходят коричневые люди. Можно идти и по солнцу, но тогда тихо, тихо — иначе солнечный удар.

Я узнал об этом поздно и две недели ходил, раздувая ноздри и рот — чтобы наверстать нехватку разреженного воздуха.

Вся жизнь, и дела, и встречи, и еда — все под холщовыми полосатыми навесами на улицах.

Главные люди — чистильщики сапог и продавцы лотерейных билетов. Чем живут чистильщики сапог, — не знаю. Индейцы босые, а если и обуты, то во что-то не поддающееся ни чистке, ни описанию. А на каждого имеющего сапог — минимум 5 чистильщиков.

Но лотерейщиков еще больше. Они тысячами ходят с отпечатанными на папиросной бумаге миллионами выигрышных билетов, в самых мелких купюрах. А наутро уже выигрыши с массой грошовых выдач. Это уже не лотерея, а какая-то своеобразная, полукарточная, азартная игра. Билеты раскупают, как в Москве подсолнухи. В Вера-Круц не задерживаются долго: покупают мешок, меняют доллары, берут мешок с серебром за плечи и идут на вокзал покупать билет в столицу Мексики — Мехико-сити.

В Мексике все носят деньги в мешках. Частая смена правительств (за отрезок времени в 28 лет — 30 президентов) подорвала доверие к каким бы то ни было бумажкам. Вот и мешки.

В Мексике бандитизм. Признаюсь, я понимаю бандитов. А вы, если перед вашими носами звенят золотым мешком, разве не покуситесь?

На вокзале увидел вблизи первых военных. Большая шляпа с пером, желтое лицо, шестивершковые усы, палаш до полу, зеленые мундиры и лакированные желтые краги.

Армия Мексики интересна. Никто, и военный министр тоже, не знает, сколько в Мексике солдат. Солдаты под генералами. Если генерал за президента, он, имея тысячу

солдат, хвастается десятью тысячами. А получив на десять, продает еду и амуницию девяти.

Если генерал против президента, он щеголяет статистикой в тысячу, а в нужный момент выходит драться с десятию.

Поэтому военный министр на вопрос о количестве войска отвечает:

— Кин сав, кин сав. Кто знает, кто знает. Может, тридцать тысяч, но возможно — и сто.

Войско живет по-древнему — в палатках со скарбом, с женами и с детьми.

Скарб, жены и дети этакой махновщиной выступают во время междоусобных войн. Если у одной армии нет патронов, но есть маис, а другие без маиса, но с патронами — армии прерывают сражение, семьи ведут меновую торговлю, одни наедятся маисом, другие наполняют патронами сумки — и снова раздувают бой.

По дороге к вокзалу автомобиль спугнул стаю птиц. Есть чего испугаться.

Гусиных размеров, вороньей черноты, с голыми шеями и большими клювами, они подымались над нами.

Это «зопилоты», мирные вороны Мексики; ихнее дело — всякий отброс.

Отъехали в девять вечера.

Дорога от Вера-Круц до Мехико-сити, говорят, самая красивая в мире. На высоту 3000 метров вздымается она по обрывам, промежду скал и сквозь тропические леса. Не знаю. Не видал. Но и проходящая мимо вагона тропическая ночь необыкновенна.

В совершенно синей, ультрамариновой ночи черные тела пальм — совсем длинноволосые богемы-художники.

Небо и земля сливаются. И вверху и внизу звезды. Два комплекта. Вверху неподвижные и общедоступные небесные светила, внизу ползущие и летающие звезды светляков.

Когда озаряются станции, видишь глубочайшую грязь, ослов и длинношляпых мексиканцев в «сарапи» — пестрых коврах, прорезанных посередине, чтоб просунуть голову и спустить концы на живот и за спину.

Стоят, смотрят — а двигаться не их дело.

Над всем этим сложный, тошноту вызывающий запах, — странная помесь вони газалина и духа гнили банана и ананаса.

Я встал рано. Вышел на площадку.

Было все наоборот.

Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают.

На фоне красного восхода, сами окрапленные красным, стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в бородавках вслушивался нопаль, любимый деликатес ослов. Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал могей. Его перегоняют в полупиво-полуводку — «пульке», спаивая голодных индейцев. А за нопалем и могеем, в пять человеческих ростов, еще какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только темнозеленый, в иголках и шишках

По такой дороге я въехал в Мехико-сити.

Диего-де-Ривейра встретил меня на вокзале. Поэтому живопись — первое, с чем я познакомился в Мехико-сити.

Я раньше только слышал, будто Диего — один из основателей компартии Мексики, что Диего величайший мексиканский художник, что Диего из кольта попадает в монету на лету. Еще я знал, что своего Хулио Хуренито Эренбург пытался писать с Диего.

Диего оказался огромным, с хорошим животом, широколицым, всегда улыбающимся человеком.

Он рассказывает, вменявая русские слова (Диего великолепно понимает по-русски), тысячи интересных вещей, но перед рассказом предупреждает:

— Имейте в виду, и моя жена подтверждает, что половину из всего сказанного я привираю.

Мы с вокзала, закинув в гостиницу вещи, двинулись в мексиканский музей. Диего двигался тучей, отвечая на сотни поклонов, пожимая руку ближайшим и перекрикиваясь с идущими другой стороной. Мы смотрели древние, круглые, на камне, ацтекские календари из мексиканских пирамид, двумордых идолов ветра, у которых одно лицо догоняет другое. Смотрели, и мне показывали не зря. Уже мексиканский посол в Париже, г-н Райес, известный новеллист Мексики, предупреждал меня, что сегодняшняя идея мексиканского искусства это — исход из древнего, пестрого, грубого народного индейского искусства, а не из эпигонски-эклектических форм, завезенных

сюда из Европы. Эта идея — часть, может, еще и не осознанная часть, идеи борьбы и освобождения колониальных рабов.

Поженить грубую характерную древность с последними днями французской модернистской живописи хочет Диего в своей еще не оконченной работе — росписи всего здания мексиканского министерства народного просвещения.

Это много десятков стен, дающих прошлую, настоящую и будущую историю Мексики.

Первобытный рай, со свободным трудом, с древними обычаями, праздниками маиса, танцами духа смерти и жизни, фруктовыми и цветочными дарами.

Потом — корабли генерала Эрнандо Кортеса, покорение и закабаление Мексики.

Подневольный труд с плантатором (весь в револьверах), валяющимся в гамаке. Фрески ткацкого, литейного, гончарного и сахарного труда. Подымающаяся борьба. Галерея застреленных революционеров. Восстание с землей, атакующей даже небеса. Похороны убитых революционеров. Освобождение крестьянина. Учение крестьян под охраной вооруженного народа. Смычка рабочих и крестьян. Стройка будущей земли. Коммуна — расцвет искусства и знаний.

Эта работа была заказана предыдущим недолговечным президентом в период его заигрывания с рабочими.

Сейчас эта первая коммунистическая роспись в мире — предмет злейших нападок многих высоких лиц из правительства президента Кайеса.

Соединенные Штаты — дирижер Мексики — дали брошенцами и пушками понять, что мексиканский президент только исполнитель воли североамериканского капитала. А поэтому (вывод нетруден) незачем разводить коммунистическую агитационную живопись.

Были случаи нападения хулиганов и замазывания и соскребывания картин.

В этот день я обедал у Диего.

Его жена — высокая красавица из Гвадалахары.

Ели чисто мексиканские вещи.

Сухие, пресные-пресные тяжелые лепешки-блины. Рубленое скатанное мясо с массой муки и целым пожаром перца.

До обеда кокосовый орех, после — манго.

Запивается отдающей самогоном дешевой водкой — коньяком-хабанерой.

Потом перешли в гостиную. В центре дивана валялся годовалый сын, а в изголовьи на подушке бережно лежал огромный кольт.

Приведу отрывочные сведения и о других искусствах.

Поэзия. Ее много. В саду Чапультапеке есть целая аллея поэтов — Кальсада дель поэтос.

Одинокие мечтательные фигуры скребутся в бумажки. Каждый шестой человек — обязательно поэт.

Но все мои вопросы критикам о сегодняшней значительной мексиканской поэзии, о том, есть ли что-либо похожее на советские течения, — оставались без ответа.

Даже коммунист Гереро, редактор железнодорожного журнала, даже рабочий писатель Крус пишут почти одни лирические вещи со сладострастиями, со стонами и шепотами, и про свою любимую говорят: Ком лео нубио (как нубийский лев).

Причина, я думаю, — слабое развитие поэзии, слабый социальный заказ. Редактор журнала «Факел» доказывал мне, что платить за стихи нельзя, — какая же это работа! Их можно помещать только как красивую человеческую позу, прежде всего выгодную и интересную одному автору. Интересно, что этот взгляд на поэзию был и в России в предпушкинскую и даже в пушкинскую эпоху. Профессионалом, серьезно вставлявшим стихи в бюджет, был, кажется, тогда только один Пушкин.

Поэзия напечатанная, да и вообще хорошая книга, не идет совсем. Исключение — только переводные романы. Даже книга «Грабительская Америка», насущная книга об империализме в Соединенных Штатах и возможности объединения латинской Америки для борьбы, переведенная и напечатанная уже в Германии, здесь расходится в пятистах экземплярах и то чуть ли не при насильственной подписке.

Те, кто хотят, чтоб их поэзия шла, издают лубочные листки с поэмкой, приспособленной к распеву на какой-нибудь общеизвестный мотив.

Такие листки показывал мне делегат Крестинтерна товарищ Гальван. Это — предвыборные листки с его же стихами, за грош продающимися по рынкам. Этот способ

надо бы применить вапповцам и мапповцам — вместо толстенных академических антологий на рабоче-крестьянском верхе, в 5 рублей ценой.

Русскую литературу любят и уважают, хотя больше понаслышке. Сейчас переводится (!) Лев Толстой, Чехов, а из новых я видел только «Двенадцать» Блока да мой «Левый марш».

Театр. Драмы, оперы, балет пустуют. Заезжая Анна Павлова имела бы полный зал, только б если у нее двойлось в глазах.

Я был раз в огромном театре на спектакле кукол. Было жутко видеть это приехавшее из Италии потрясающее искусство. Люди, казавшиеся живыми, ломались в гимнастике по всем суставам. Из бабы человеческой величины десятиками вылетали танцевать крохотные куколочки обоего пола.

Оркестр и хор полуаршинных людей выводили невозможные рулады, и даже на этом официальном спектакле в пользу авиаторов Мексики полны были только ложи дипломатических представителей, хотя билеты и продавались вручную, вразнос.

Есть два «батаклана», — подражание голым парижским ревю. Они полны. Женщины тощие и грязные. Очевидно, уже вышедшие из моды, из лет и из успеха в Европе и в Штатах. Пахнет потом и скандалом. Номер полу часового вращения (с дрожью) задом (обратная сторона танца живота) повторяется трижды — и снова бешеный свист, заменяющий в Мексике аплодисменты.

Так же посещаем кино. Мексиканское кино работает от восьми вечера и показывает одну неповторяющуюся программу из трех-четырех огромных лент.

Содержание ковбойское, происхождение американское. Но самое любимое, самое посещаемое зрелище — это бой быков.

Огромное стальное строение арены — единственное здание по всем правилам, по всей американской широте.

Человек — тысяч на сорок. Задолго до воскресенья газеты публикуют:

ЛОС ОЧОС ТОРОС

(Восемь быков)

Быков и лошадей, принимающих участие в битве, можно заранее осматривать в конюшнях торо. Такие-то и такие-то знаменитые торреадоры, матадоры и пикадоры принимают участие в празднике.

В назначенный час тысячи экипажей со светскими дамами, катящими с ручными обезьянками в своих «ройльсах», и десятки тысяч пешеходов прут к стальному зданию. Цены на билеты, раскупленные барышниками, вздуты вдвое.

Цирк открытый.

Аристократия берет билеты в теневой, дорогой стороне, плебс — на дешевой, солнечной. Если после убийства двух быков, из общей программы в 6 или в 8, дождь заставляет прекратить живодерню, публика — так было в день моего приезда — ярится и устраивает погром администрации и деревянных частей.

Тогда полиция прикатывает брандспой и начинает окачивать солнечную (плебейскую) сторону водой. Это не помогает, — тогда стреляют в тех же солнышников.

Торо.

Перед входом огромная толпа ждет любимцев-быкобоев. Именитые граждане стараются сняться рядом с высокомерным быкобойцем, аристократки-синьоры дают, очевидно для облагораживающего влияния, поддержать им своих детей. Фотографы занимают места почти на бычьих рогах — и начинается бой.

Сначала пышный, переливающий блестящими парад. И уже начинает бесноваться аудитория, бросая котелки, пиджаки, кошельки и перчатки любимцам на арену. Красиво и спокойно, сравнительно, проходит пролог, когда торреадор играет с быком красной тряпкой. Но уже с бандерильеров, когда быку в шею втыкают первые копы, когда пикадоры обрывают быкам бока и бык становится постепенно красным, когда его взбешенные рога врезаются в лошажьи животы и лошади пикадоров секунду носятся с вывалившимися кишками — тогда зловещая радость аудитории доходит до кипения. Я видел человека, который спрыгнул со своего места, выхватил тряпку торреадора и стал взвивать ее перед бычьим носом.

Я испытал высшую радость: бык сумел воткнуть рог между человеческими ребрами, мстя за товарищей-быков.

Человека вынесли.

Никто на него не обратил внимания.

Я не мог и не хотел видеть, как вынесди шпагу главному убийце и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами сдиратели шкур. Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять.

Почему нужно жалеть такое человечество?

Единственное, что примиряет меня с боем быков, это — то, что и король Альфонс испанский против него.

Бой быков — национальная мексиканская гордость.

Когда, распроставшись с своим делом, купив дома и обеспечив себя и детей едой и лакеями, знаменитый быкбоец Рудольфо Гооно уехал в Европу — вся пресса взвыла, собирая анкеты: имеет ли право уезжать этот великий человек? у кого будет учиться, с кого будет брать пример подрастающая Мексика?

Поражающих архитектурных памятников новой стройки я в Мексике не видел. Быстро меняющиеся президенты мало задумываются о долговечных стройках. Диэц, пропрезидентствовавший тридцать лет, под конец начал строить не то сенат, не то театр. Диэца прогнали. С тех пор прошло много лет. Готовый скелет из железных балок стоит, а сейчас, кажется, его получил на слом или продажу за какие-то услуги президенту какой-то мексиканский спекулянт. Новой и хорошей вещью мне показался памятник Сервантесу (копия севильского). Возвышающаяся площадка, обнесенная каменными скамейками, посредине фонтан, очень нужный в мексиканской жаре. Скамейки и низкие стены выстланы плитками, воскрешающими в простеньких лубочках похождения Дон-Кихота. Маленький Дон и Санчо-Панса стоят по бокам. Никаких изображений усатого или бородатого Сервантеса.

Зато два шкафика его книг, которые тут же много лет листают возвышенные мексиканцы.

Город Мехико-сити плоский и пестрый. Снаружи почти все домики — ящиками. Розовые, голубые, зеленые. Преобладающий цвет розовато-желтый, этаким морским песком на заре. Фасад дома скучен, вся его красота — внутри. Здесь дом образует четырехугольный дворик. Дворик

усажен всякой цветущей тропичностью. Перед всеми домами обнимающая дворик двух-трех-четырёхэтажная терраса, обвитая зеленью, увешанная горшками с ползучими растениями и клетками попугаев.

Целое огромное американское кафе Самборн устроено так: застеклена крыша над двориком — вот и все.

Это — испанский тип домов, завезенный сюда завоевателями.

От старого восьмисотлетнего Мехико, — когда все это пространство, занимаемое городом, было озеро, обнесённое вулканами, и только на островочке стояло пуэбло, своеобразный город-дом-коммуна, тысяч на 40 человек, — от этого ацтекского города не осталось и следа.

Зато масса дворцов и домов первого завоевателя Мексики — Кортеса и его эпохи, недолгого царя Итурбиды, да церкви, церкви и монастыри. Их много больше 10 000 разставлено в Мексике.

И огромные новые соборы, вроде брата Нотр-Дама, — от кафедрала на площади Сокола до маленькой церковки в старом городе, без окон, заплесневевшей и зацветшей. Она брошена лет двести назад после сражения монахов с кем-то, — вот и стоит дворик, в котором ещё и сейчас валяется допотопное оружие, в том порядке, — вернее беспорядке, — в котором побросали его разбитые осаждённые. И мимо огромных книг на деревянных подставках носятся летучие мыши и ласточки.

Правда, упомянутым кафедралем для молитв пользуются мало, — у кафедрала с одной стороны вход, а с другой — четыре выхода на четыре улицы. Мексиканские синьорины и синьориты пользуются собором как проходным двором для того, чтобы, оставив в ждущем шофере впечатление религиозной невинности, выскользнуть с другой стороны в объятия любовника или под руку поклонника.

Хотя церковные земли конфискованы, процессии религиозные запрещены правительством, но это остается только на бумаге. На деле, кроме попов, религию блюдут и множество своеобразных организаций: «Рыцари Колумба», «Общество дам-католичек», «Общество молодых католиков» и т. д.

Это — дома и здания, на которых останавливаются гиды и Куки. Дома истории — дома попов и дома богатых.

Коммунисты показывали мне кварталы бедняков, мелких подмастерьев, безработных. Эти домики лепятся друг к другу, как ларьки на Сухаревке, но с еще большей грязью. В этих домах нет окон, и в открытые двери видно, как лепятся семьи из восьми, из десяти человек в одной такой комнатке.

Во время ежедневных летних мексиканских дождей вода заливает протоптанные ниже тротуаров полы и стоит вонючими лужами.

Перед дверьми мелкие худосочные дети едят вареный маис, продающийся здесь же и хранящийся теплым под грязными тряпками, на которых ночью спит сам торговец.

Взрослые, у которых еще есть 12 сантимов, сидят в «пулькерей» — этой своеобразной мексиканской пивной, украшенной коврами сарапи с изображением генерала Боливара, с пестрыми лентами или стеклярусами вместо дверей.

Кактусовый пульке, без еды, портит сердце и желудок. И уже к сорока годам индеец с одышкой, индеец с одутловатым животом. И это — потомок стальных Ястребиных Когтей, охотников за скальпами! Это — обобранная американскими цивилизующими империалистами страна, — страна, в которой до открытия Америки валяющееся серебро даже не считалось драгоценным металлом, — страна, в которой сейчас не купишь и серебряного фунта, а должен искать его на Волстрит в Нью-Йорке. Серебро американское, нефть американская. На севере Мексики во владении американцев и густые железные дороги и промышленность по последнему техническому слову.

А экзотика — на кой она черт! Лианы, попугаи, тигры и малярии, это — на юге, это — мексиканцам. Что американцам? Тигров, что ли, ловить да стричь шерсть на кисточки для бритья?

Тигры — это мексиканцам. Им — голодная экзотика.

Самая богатая страна мира, уже посаженная североамериканским империализмом на голодный паек.

Жизнь города начинается поздно, в 8—9 часов.

Открываются рынки, слесарные, сапожные и портняжные мастерские, все электрифицированные, со станками для обпиливания и крашения каблучков, с утюгами для глажения сразу всего костюма. За мастерскими — правительственные учреждения.

Масса такси и частных автомобилей попеременно с демократическими тряскими грязными автобусами, не комфортабельней и не вместительней нашего грузового полка.

Авто конкурирует с автобусами и авто разных фирм между собой.

Эта конкуренция при больше чем страстном характере испанцев-шоферов приобретает прямо боевые формы.

Авто гоняется за авто, авто вместе гоняются за автобусом, а все сообща въезжают на тротуары, охотясь за недуманными пешеходами.

Мехико-сити — первый в мире город по количеству несчастных случаев от автомобилей.

Шофер в Мексике не отвечает за увечья (берегись сам!), поэтому средняя долгота житья без увечий десять лет. Раз в десять лет давят каждого. Правда, есть и нераздавленные в течение двадцати лет, но это за счет тех, которые в пять лет уже раздавлены.

В отличие от врагов мексиканского человечества — автомобилей — трамваи исполняют гуманную роль. Они развозят покойников.

Часто видишь необычное зрелище. Трамвай с плачущими родственниками, а на прицепе-катафалке покойник. Вся эта процессия жарит всюю с массой звонков, но без остановок.

Своеобразная электрификация смерти!

Сравнительно с Соединенными Штатами народу на улицах мало, — домишки маленькие, с садами, протяжение города огромное, а жителей всего 600 тысяч.

Уличных реклам мало. Только ночью врезается одна. Мексиканец из электрических лампочек накидывает лассо на коробку папирос. Да все такси украшены изогнувшейся в плавании женщиной — реклама купальных костюмов.

Единственная реклама, которую любит малоудивляющийся мексиканец, это «барата» — распродажа. Этими распродажами заполнен город. Самые солидные фирмы обязаны ее объявлять — без распродажи мексиканца неставишь купить даже фиговый лист.

В мексиканских условиях это не шутка. Говорят, муниципалитет повесил на одной из застав, вводящих в Мехико-сити, для усовещивания чересчур натуральных индейцев вывеску:

В МЕХИКО-СИТИ
БЕЗ ШТАНОВ
ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Магазинная экзотика есть, но она для дураков, для заезжих, скупающих сувениры, сухопарых американок. К их услугам прыгающие бобы, чересчур яркие сарапи, от которых будут шарахаться все ослы Гвадалахары, сумочки с тисненым ацтекским календарем, открытки с попугаями из настоящих попугайских перышек. Мексиканец чаще останавливается перед машинными магазинами немцев, бельевыми — французов, мебели — американцев.

Иностранных предприятий бесконечное количество. Когда в праздник 14 июля французские лавки подняли флаги, то густота их заставила думать, что мы во Франции.

Наибольшими торговыми симпатиями пользуются Германия, немцы.

Говорят, что немец может проехать по стране, пользуясь всеобщим хлебосольством только из любви к его национальности. Недаром в самой распространенной здесь газете я видел типографские машины, привезенные недавно, только с немецкими клеймами, — хотя до Америки сутки, а до Гамбурга езды 18 дней.

До 5—6 часов служба, работа. Потом к вертушкам. Перед парикмахерскими в Америке вертушки — стеклянный цилиндр с разноцветными спиралями, реклама мексиканских парикмахерских. Другие — в чистильню сапог. Длинный магазин с подставками для ног перед высокими стульями. Чистильщиков на 20.

Мексиканец франтовит — я видел рабочих, которые душатся. Мексиканка ходит неделю в дырах, чтоб в воскресенье разодеться в шелка. С семи часов центральные улицы загораются электричеством, которого здесь жгут больше, чем где бы то ни было, — во всяком случае больше, чем позволяют средства мексиканского народа. Своеобразная агитация за крепость и благополучие существования под нынешним президентом.

В 11 часов, когда кончаются театры и кино, остаются несколько кафе да загородные и окраинные подвальные кабачки, — ходьба начинает становиться небезопасной.

В сад Чапультапек, в котором дворец президента, уже не пускают.

По городу горох выстрелов. Сбежавшаяся полиция не всегда обнаруживает убийство. Чаще всего стреляют в трактирах, пользуясь кольцом как штопором. Отшибают бутылочки горлышки. Стреляют просто из авто для шума. Стреляют на пари — тянут жребий, кто кого будет застреливать, — вынувший застреливает честно. В саду Чапультапек стреляют обдуманно. Президент приказал не впускать в сад с темнотой (в саду президентский дворец), стрелять после третьего предупреждения. Стрелять не забывают, только иногда забывают предупреждать. Газеты об убийствах пишут с удовольствием, но без энтузиазма. Но зато, когда день обошелся без смерти, газета публикует с удивлением:

«Сегодня убийств не было».

Любовь к оружию большая. Обычай дружеского прощания такой: становишься животом к животу и похлопываешь по спине. Впрочем, похлопываешь ниже и в заднем кармане брюк всегда прохлопнешь увесистый кольт.

Это у каждого от 15 до 75-летнего возраста.

Капля политики. Капля — потому что это не моя специальность, потому что жил в Мексике мало, а писать об этом надо много.

Политическая жизнь Мексики считается экзотической, потому что отдельные факты ее на первый взгляд неожиданны, а проявления необычны.

Чехарда президентов, решающий голос колты, никогда не затухающие революции, сказочное взяточничество, героизм восстаний, распродажа правительств — все это есть в Мексике, и всего вдоволь.

Прежде всего о слове «революционер». В мексиканском понятии это не только тот, кто, понимая или угадывая грядущие века, дерется за них и ведет к ним человечество, — мексиканский революционер — это каждый, кто с оружием в руках свергает власть — какую, безразлично.

А так как в Мексике каждый или свергнул, или свергает, или хочет свергнуть власть, то все революционеры.

Поэтому это слово в Мексике ничего не значит, и, прочтя его в газете в применении к южноамериканской жизни, надо спрашивать дальше и глубже. Я видел много

мексиканских революционеров, от молодых энтузиастов-комсомольцев, до времени прячущих кольт, ждущих, чтобы и Мексика пошла по нашему октябрьскому пути, от этих и до 65-летних стариков, копящих миллионы для подкупа к выступлению, за которым самому мерещится президентский пост.

Всего в Мексике около 200 партий — с музейными партийными курьезами вроде «партии революционного воспитания» Рафаэля Майена, имеющей и идеологию, и программу, и комитет, но состоящей всего из него одного, или вроде прогоревших лидеров, предлагающих городскому управлению вымостить за свой счет целую улицу, только чтоб хотя б один переулок был назван их именем.

Для рабочего зрения интересна «лабористская» партия. Это мирная «рабочая партия», по духу близкая североамериканскому Гомперсу, лучший показатель того, как дегенерируют реформистские партии, заменивши революционную борьбу торговлей из-за министерских портфельей, благородными речами с трибуны и торгово-политическими махинациями в кулуарах.

Интересна фигура деятеля этой партии, министра труда Маронеса, которого все журналы рисуют не иначе как с горящими бриллиантами во всех грудях и манжетах.

К сожалению, я не могу дать достаточного очерка жизни коммунистов Мексики.

Я жил в Мехико-сити, центре официальной политики, — рабочая же жизнь концентрировалась севернее — в нефтяном центре Тампико, на рудниках штата Мексико, среди крестьян штата Вера-Круц. Могу только вспомнить несколько встреч с товарищами.

Товарищ Гальван, представитель Мексики в Крестинтерне, организовал в Вера-Круц первую сельскохозяйственную коммуну с новыми тракторами и с попытками нового быта. Он как настоящий энтузиаст рассказывает о своей работе, раздает фотографии и даже читает стихи о коммуне.

Товарищ Карио, еще совсем молодой, но один из лучших теоретиков коммунизма — и секретарь, и казначей, и редактор, и все что угодно в одно и то же время.

Гереро — индеец. Коммунист-художник. Прекрасный политический карикатурист, владеющий и карандашом и лассо.

Товарищ Морено. Депутат от штата Вера-Круц.

Морено вписал в мою книжку, прослушав «Левый марш» (к страшному сожалению, эти листки пропали «по независящим обстоятельствам» на американской границе):

«Передайте русским рабочим и крестьянам, что пока мы еще только слушаем ваш марш, но будет день, когда за вашим маузером загремит и наше «33» (калибр кольта)».

Кольт загремел, но, к сожалению, не мореновский, а в Морено.

Уже находясь в Нью-Йорке, я прочел в газете, что товарищ Морено убит правительственными убийцами.

Компартия Мексики мала: на полтора миллиона пролетариев — около двух тысяч коммунистов, но из этого числа только товарищей триста активных работников.

Но влияние коммунистов растет и распространяется далеко за пределы партии, — коммунистический орган «Эль Мачете» имеет пятидесятитысячный фактический тираж.

Еще один факт. Товарищ Монсон уже в федеральном сенате стал коммунистом, будучи послан в сенат лавористами штата Сан-Луис Потоси. Его дважды вызывала его бывшая партия для отчета — он не показывался, занятый делами компартии. Тем не менее его не могут лишить полномочий благодаря его огромной популярности в рабочей массе.

Эксцентричность политики Мексики, ее необычность на первый взгляд — объясняется тем, что корни ее надо искать не только в экономике Мексики, но и в расчетах и вождениях Соединенных Штатов, и главным образом в них. Есть президенты, которые президентствовали чуть ли не час, так что, когда являлись интервьюеры, президент был уже свергнут и отвечал с раздражением: «Разве вы не знаете, что я был выбран всего на полтора часа».

Такая быстрая смена объясняется отнюдь не живым темпераментом испанцев, а тем, что такого президента выбирают по соглашению со Штатами для спешного и покорного проведения какого-нибудь закона, защищающего американские интересы. С 1894 года (выбор первого президента Мексики, генерала Гваделупе) за 30 лет сменилось 37 президентов и 5 раз радикально менялась конституция. Прикиньте еще, что из этих тридцати семи тридцать были генералами, а значит, каждое новое вступление сопровож-

далось оружием, и вам станет немного ясней вулканическая картина Мексики.

В соответствии с этим и приемы борьбы мексиканские.

Перед голосованием, предвидя у противника большинство голосов, лихие делегаты крадут обладателей лишних голосов противной партии и держат до принятия резолюций.

Это не система, но бывает. Генерал вызывает в гости другого, и за кофе, — сентиментальный, как и все испанцы, — уже сжимая револьверную рукоять, со слезами уговаривает коллегу:

— Пей, пей, это последняя чашка кофе в твоей жизни.

Конец одного из генералов ясен.

Только в Мексике могут быть такие истории, как история генерала Бланча, позднее рассказанная мне уже в американском Лоредо. Бланча брал города в компании десяти товарищей, сгоняя с гор тысячный табун лошадей. Население города разбегалось и сдавалось, воображая тысячный отряд, справедливо думая, что лошадям одним незачем брать город. Но лошади брали потому, что их гнал Бланча. Бланча был неуловим, то дружа с американцами против мексиканцев, то с мексиканцами против американцев.

Его поймали на женщине. Подосланная красавица выманила его на мексиканскую сторону и в трактире всыпала ему и его товарищу какую-то сонную дрянь. Его сковали вместе с товарищем и бросили скованных в реку, делящую два Лоредо, стреляя из кольтов с лодок.

Очнувшийся от холода, силач-великан Бланча сумел порвать наручники, но его тянул прикованный товарищ.

Их тела вытащили только через несколько дней.

Много идей взлетает искрами от этих сшибающихся людей, отрядов, партий.

Но одна идея объединяет всех, это — жажда освобождения, ненависть к поработителям, к жестоким «гринго», сделавшим из Мексики колонию, отрезавшим половину территории (так что есть города, половина которых мексиканская, вторая — американская), — к американцам, тридцатимиллионной тушей придавившим двенадцатимиллионный народ.

«Гочупин» и «гринго» — два высших ругательства в Мексике.

«Гочупин» — это испанец. За 500 лет со времени вторжения Коргеса это слово потухло, тлеет, потеряло остроту.

Но «гринго» и сейчас звенит как пощечина (когда врывались в Мексику американские войска, они пели:

Грин-гоу
ди рошес ов...

— старая солдатская песня, и по первым словам сократилось ругательство).

Случай:

Мексиканец на костылях. Идет с женщиной. Женщина — англичанка. Встречный. Смотрит на англичанку и орет:

— Грингоу!

Мексиканец оставил костыль и вынул кольт.

— Возьми обратно свои слова, собака, или я просверлю тебя на месте.

Полчаса извинений, дабы сгладить страшное незаслуженное оскорбление. Конечно, в этой ненависти к гринго не совсем правильное отождествление понятий — «каждый американец» и «эксплуататор». Неправильное и вредное понимание «нации» так часто парализовало борьбу мексиканцев.

Мексиканские коммунисты знают, что:

500 мексиканских нищих племен,
а сытый,
с одним языком,
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.

Все больше понимают трудящиеся Мексики, что только товарищи Морена знают, куда направить национальную ненависть, на какой другой вид ненависти перевести ее.

Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом.
Несись
по земле
из страны мексиканцев
роднящий крик
«Камарадо»!

Все больше понимают трудящиеся (первомайская демонстрация — доказательство), что делать, чтобы свергнутые американские эксплуататоры не заменились отечественными.

Скинь
с горба
толстопузых обузу,
ацтек,
креол
и метис.
Скорее
над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись.

«Арбузом» называется мексиканское знамя. Есть предание: отряд повстанцев, пожирая арбуз, думал о национальных цветах.

Необходимость быстрой переброски не дала долго задумываться.

— Сделаем знамя — арбуз, — решил выступающий отряд.

И пошло: зеленое, белое, красное — корка, прослойка, сердцевина.

Я уезжал из Мексики с неохотой. Все то, что я описал, делается чрезвычайно гостеприимными, чрезвычайно приятными и любезными людьми.

Даже семилетний Хезус, бегающий за папиросами, на вопрос об имени неизменно отвечал:

— Хезус Пупито, ваш покорный слуга.

Мексиканец, давая свой адрес, никогда не скажет: «Вот мой адрес». Мексиканец оповещает:

«Вы теперь знаете, где ваш дом».

Предлагая сесть в авто, говорит:

«Прошу вас сесть в свой автомобиль».

А письма, даже не к близкой женщине, подписываются: «Целую следы ваших ног».

Похвалить вещь в чужом доме нельзя, — ее заворачивают вам в бумажку.

Дух необычности и радушие привязали меня к Мексике.

Я хочу еще быть в Мексике, пройти с товарищем Хайкисом еще Мореном намеченную для нас дорогу: из Мехикосити в Вера-Круц, оттуда два дня на юг поездом, день на лошадях — и в непроезженный тропический лес с попугаями без счастья и с обезьянами без жилетов.

НЬЮ-ЙОРК

Нью-Йорк. — Москва. Это в Польше? — спросили меня в американском консульстве Мексики.

— Нет, — отвечал я, — это в СССР.

Никакого впечатления.

Визу дали.

Позднее я узнал, что если американец заостривает только кончики, так он знает это дело лучше всех на свете, но он может никогда ничего не слышать про игольи ушки. Игольи ушки — не его специальность, и он не обязан их знать.

Лоредо — граница САСШ.

Я долго объясняю на ломанейшем (просто осколки) полуфранцузском, полуанглийском языке цели и права своего въезда.

Американец слушает, молчит, обдумывает, не понимает и, наконец, обращается по-русски:

— Ты — жид?

Я опешил.

В дальнейший разговор американец не вступил за немением других слов.

Помучился и минут через десять выпалил:

— Великоросс?

— Великоросс, великоросс, — обрадовался я, установив в американце отсутствие погромных настроений. Голый анкетный интерес. Американец подумал и изрек еще через десять минут:

— На комиссию.

Один джентльмен, бывший до сего момента штатским пассажиром, надел форменную фуражку и оказался эмиграционным полицейским.

Полицейский всунул меня и вещи в автомобиль. Мы подъехали, мы вошли в дом, в котором под звездным знаменем сидел человек без пиджака и жилета.

За человеком были другие комнаты с решетками. В одной поместили меня и вещи.

Я попробовал выйти, меня предупредительными лапками загнали обратно.

Невдалеке засвистывал мой нью-йоркский поезд.

Сижу четыре часа.

Пришли и справились, на каком языке буду изъясняться.

Из застенчивости (неловко не знать ни одного языка) я назвал французский.

Меня ввели в комнату.

Четыре грозных дяди и француз-переводчик.

Мне ведомы простые французские разговоры о чае и булках, но из фразы, сказанной мне французом, я не понял ни черта и только судорожно ухватился за последнее слово, стараясь вникнуть интуитивно в скрытый смысл.

Пока я вникал, француз догадался, что я ничего не понимаю, американцы замахали руками и увели меня обратно.

Сидя еще два часа, я нашел в словаре последнее слово француза.

Оно оказалось:

— Клятва.

Клясться по-французски я не умел и поэтому ждал, пока найдут русского.

Через два часа пришел француз и возбужденно утешал меня:

— Русского нашли. Бон гарсон.

Те же дяди. Переводчик — худощавый флегматичный еврей, владелец мебельного магазина.

— Мне надо клясться, — робко заикнулся я, чтобы начать разговор.

Переводчик равнодушно махнул рукой:

— Вы же скажете правду, если не хотите врать, а если же вы захотите врать, так вы же все равно не скажете правду.

Взгляд резонный.

Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов: девичья фамилия матери, происхождение дедушки, адрес гимназии и т. п. Совершенно позабытые вещи!

Переводчик оказался влиятельным человеком, а, доравшись до русского языка, я, разумеется, понравился переводчику.

Короче: меня впустили в страну на 6 месяцев как туриста под залог в 500 долларов.

Уже через полчаса вся русская колония сбежалась смотреть меня, вперебой поражая гостеприимством.

Владелец маленькой сапожной, усадив на низкий стул для примерок, демонстрировал фасоны башмаков, таскал студеную воду и радовался:

— Первый русский за три года! Три года назад поп заезжал с дочерьми, сначала ругался, а потом (я ему двух дочек в шантан танцевать устроил) говорит: «Хотя ты и жид, а человек симпатичный, значит в тебе совесть есть, раз ты батюшку устроил».

Меня перехватил бельевщик, продал две рубашки по два доллара по себестоимости (один доллар — рубашка, один — дружба), потом, растроганный, повел через весь городок к себе домой и заставил пить теплое виски из единственного стакана для полоскания зубов — пятнистого и разящего одолюю.

Первое знакомство с американским сухим противопитейным законом — «прогибишен». Потом я вернулся в мебельный магазин переводчика. Его брат отстегнул веревочку с ценой на самом лучшем зеленом плюшевом диване магазина, сам сел напротив на другом, кожаном с ярлыком: 99 долларов 95 центов (торговая уловка — чтобы не было «сто»).

В это время вошла четверка грустных евреев: две девушки и двое юношей.

— Испанцы, — укоризненно рекомендует брат. — Из Винницы и из Одессы. Два года сидели на Кубе в ожидании виз. Наконец доверились аргентинцу, за 250 долларов взявшемуся перевезти.

Аргентинец был солиден и по паспорту имел четырех путешествующих детей. Аргентинцам не нужна виза. Аргентинец перевез в Соединенные Штаты четыреста или шестьсот детей — и вот попался на шестьсот четвертых.

Испанец сидит твердо, за него уже неизвестные сто тысяч долларов в банк кладут — значит крупный.

А этих брат на поруки взял, только зря — досудят и все равно вышлют.

Это еще крупный промышленник — честный. А тут и мелких много, по сто долларов берутся из мексиканского Лоредо в американский переправить. Возьмут сто, до середины довезут, а потом топят.

Многие прямо на тот свет эмигрировали.

Это — последний мексиканский рассказ.

Рассказ брата о брате, мебельщике, первый — американский. Брат жил в Кишиневе. Когда ему стало 14 лет, он

узнал понаслышке, что самые красивые женщины — в Испании. Брат бежал в этот же вечер, потому что женщины были ему нужны самые красивые. Но до Мадрида он добрался только в 17 лет. В Мадриде красивых женщин оказалось не больше, чем в каждом другом месте, но они смотрели на брата даже меньше, чем аптекарши в Кишиневе. Брат обиделся и справедливо решил, что для обращения сияния испанских глаз в его сторону ему нужны деньги. Брат поехал в Америку еще с двумя бродягами, но зато с одной парой башмаков на всех троих. Он сел на пароход, не на тот, на который нужно, а на который сестре удалось. По прибытии Америка неожиданно оказалась Англией, и брат по ошибке засел в Лондоне. В Лондоне трое босых собирали окурки, трое голодных делали из окурочного табаку новые папиросы, а потом один (каждый по очереди), облекшись в башмаки, торговал по набережной. Через несколько месяцев табачная торговля расширилась за пределы окурковых папирос, горизонт расширился до понимания местонахождения Америки и благополучие — до собственных башмаков и до билета третьего класса в какую-то Бразилию. По дороге на пароходе выиграл в карты некоторую сумму. В Бразилии торговлей и игрой он раздул эту сумму до тысяч долларов.

Тогда, взяв все имевшееся, брат отправился на скачки, пустив деньгу в тотализатор. Нерадивая кобыла поплелась в хвосте, мало беспокоясь об обнищавшем в 37 секунд брате. Через год брат, перемахнув в Аргентину, купил велосипед, навсегда презрев живую натуру.

Насобачившись на велосипеде, неугомонный кишиневец ввязался в велосипедные гонки.

Чтобы быть первым, пришлось сделать маленькую вылазку на тротуар, — минута была выиграна, зато случайно зазевавшаяся старуха свергнута гонщиком в канаву.

В результате весь крупный первый приз пришлось отдать помятой бабушке.

Брат с горя ушел в Мексику и разгадал нехитрый закон колониальной торговли, — надбавка 300 : 100 % — на наивность, 100 % — на расходы и 100 % — спертое при рассрочке платежа.

Сбив опять некоторую толику — перешли на американскую, всякой наживе покровительствующую сторону.

Здесь брат не погрязает ни в какое дело, он покупает мыловаренный завод за 6 и перепродает за 9 тысяч. Он берет магазин и передает его, за месяц учуяв крах. Сейчас он — уважаемейшее лицо города: он — председатель десятков благотворительных обществ, он, когда приезжала Павлова, — за один ужин заплатил триста долларов.

— Вот он, — показал восхищенный рассказчик на улицу. Брат носился в новом авто, так и так пробуя его; он продавал свою машину за семь и бросался на эту в двенадцать.

На тротуаре подобострастно стоял человек, улыбался, чтобы видели золотые коронки, и, не останавливая глаз, стрелял ими за машиной.

— Это — молодой галантерейщик, — объяснили мне. — Он с братом здесь всего четыре года, а уже два раза в Чикаго за товаром ездил. А брат — ерунда, какой-то греческий, все поэзию пишет, его в соседний город учителем определили, все равно толку не будет.

В радости русскому, с фантастическим радушием водил меня мой новый знакомец по улицам Лоредо.

Он забегал передо мной, открывая двери, кормил меня длиннейшим обедом, страдал при едином намеке на оплату с моей стороны, вел меня в кино, смотря только на меня и радуясь, если я смеюсь, — все это без малейшего представления обо мне, только за одно слово — москвич.

Мы шли на вокзал потемным пустыньким улицам — по ним, как всегда в провинции, разыгралась свободная административная фантазия. В асфальте (чего я никогда не видел даже в Нью-Йорке) белые полосы точно указывали место перехода граждан, огромные белые стрелки давали направление несуществующим толпам и автомобилям, и за неуместный переход по пустеющим улицам взимался чуть ли не пятидесятирублевый штраф. На вокзале я понял все могущество мебельного брата. От Лоредо до Сан-Антонио всю ночь будят пассажиров, проверяют паспорта в погоне за безвизными перебежчиками. Но я был показан комиссару, и я безмятежно проспал первую американскую ночь, вселяя уважение пульмановским вагонным неграм.

Утром откатывалась Америка, засвистывал экспресс, не останавливаясь, вбирая хоботом воду на лету. Кругом вылизанные дороги, измученные фордами, какие-то строения технической фантастики. На остановках видне-

лись техасские ковбойские дома с мелкой сеткой от комаров и москитов в окнах, с диванами-гамаками на огромных террасах. Каменные станции, перерезанные ровно пополам: половина для нас, белых, половина — для черных, «фор нигрос», с собственными деревянными стульями, собственной кассой — и упаси вас даже случайно залезть на чужую сторону!

Поезда бросались дальше. С правого боку взвивался аэро, перелетал на левую, вздымался опять, перемахнув через поезд, и неся опять по правой.

Это — сторожевые пограничные американские аэропалы.

Впрочем, почти единственно виденные мной в Соединенных Штатах.

Следующие я видел только в трехдневных аэрогонках в ночной рекламе над Нью-Йорком.

Как ни странно, авиация развита здесь сравнительно мало.

Могущественные железнодорожные компании даже каждую воздушную катастрофу смакуют и используют для агитации против полетов.

Так было с разорванным пополам (уже в мою бытность в Нью-Йорке) воздушным кораблем Шеландоу, когда тринадцать человек спаслись, а семнадцать вслизились в землю вместе с крошкой оболочки и стальных тросов.

И вот в Соединенных Штатах почти нет пассажирских полетов.

Может, только сейчас мы накануне летающей Америки: Форд выпустил первый свой аэроплан и поставил его в Нью-Йорке в универсальном магазине Ванамекер, — там, где много лет назад был выставлен первый авто-фордик.

Ньюйоркцы влазят в кабину, дергают хвост, глядят крылья, — но цена в 25 000 долларов еще заставляет отступать широкого потребителя. А пока что, аэропланы взлетали до Сан-Антонио, потом пошли настоящие американские города. Мелькнула американская Волга — Миссисипи, огорошил вокзал в Сан-Луисе, и новую в просветах двадцатипятиэтажных небоскребов Филадельфии уже сияло настоящее дневное рекламное нежалеемое, неэкономимое электричество.

Это был разбег, чтобы мне не удивляться Нью-Йорку. Больше, чем вывороченная природа Мексики, поражает

растениями и людьми и больше ошарашивает вас выплывающий из океана Нью-Йорк своей навороченной стройкой и техникой. Я въезжал в Нью-Йорк с суши, ткнулся лицом только в один вокзал, но хотя и был приучае́м трехдневным проездом по Техасу — глаза все-таки растопырил.

Много часов поезд летит по Гудзоньеву берегу шагах в двух от воды. По той стороне — другие дороги у самого подножья Медвежьих гор. Гуще прут пароходы и пароходики. Чаше через поезд перепрыгивают мосты. Непрерывней прикрывают вагонные окна встающие стены — пароходных доков, угольных станций, электрических установок, сталелитейных и медикаментных заводов. За час до станции въезжаешь в непрерывную гущу труб, крыш, двухэтажных стен, стальных ферм воздушной железной дороги. С каждым шагом на крыши нарастает по этажу. Наконец дома подымаются колодезными стенками с квадратами, квадратиками и точками окон. Сколько ни задирай головы — нет верхов. От этого становится еще теснее, как будто уже щекой трешься об этот камень. Растерянный, опускаешься на скамейку — нет надежд, глаза не привыкли видеть такое; тогда остановка — Пенсильвения-стэшен.

На платформе — никого, кроме негров-носильщиков. Лифты и лестницы вверх. Вверху — несколько ярусов галерей, балконов с машущими платками встречающей и провожающей массы.

Американцы молчат (или, может быть, люди только кажутся такими в машинном грохоте), а над американцами гудят рупора и радио о прибытиях и отправлениях.

Электричество еще двоится и троится белыми плитками, выстилающими безоконные галереи и переходы, прерывающиеся справочными бюро, целыми торговыми рядами касс и никогда не закрывающимися всеми магазинами — от мороженых и закусовых до посудных и мебельных.

Едва ли кто-нибудь представляет себе ясно целиком весь этот лабиринт. Если вы приехали по делу в контору, находящуюся версты за три в Дантауне — в банковском, деловом Нью-Йорке, в каком-нибудь пятьдесят третьем этаже Вульворт-Бильдинг и у вас совиный характер — вам незачем вылазить из-под земли. Здесь же, под землей, вы садитесь в вокзальный лифт, и он взвивает вас в вестибюль Пенсильвения-отель, гостиницы с двумя тысячами всевозможных номеров.

Все, что нужно торгующему гражданину: почты, банки, телеграфы, любые товары — все найдешь здесь, не выходя за пределы отеля.

Здесь же сидят какие-то смышленные маменьки с недвусмысленными дочерьми.

Иди танцуй.

Шум и табачный чад, как в долгожданном антракте громадного театра после длинной скучной пьесы.

Тот же лифт опустит вас к подземке (собвей), берите экспресс, который рвет версты почище поезда. Слезаете вы в нужном вам доме. Лифт заворачивает вас в нужный этаж без всяких выходов на улицу. Та же дорога вывертит вас обратно на вокзал, под потолок — небо пенсильванского вокзала, под голубое небо, по которому уже горят Медведицы, Козерог и прочая астрономия. И сдержанный американец может ехать в ежеминутных поездах к себе на дачную качалку-диван, даже не взглянув на гоморрный и содомный Нью-Йорк.

Еще поразительнее возвышающийся несколькими кварталами вокзал Гранд-Централ.

Поезд несется по воздуху на высоте трех-четыре-х этажей. Дымящий паровоз сменен чистеньким, не плюющим электровозом — и поезд бросается под землю. С четверть часа под вами еще мелькают увитые зеленью решетки про-светов аристократической тихой Парк-Авеню. Потом и это кончается, и полчаса длится подземный город с тысячами сводов и черных тоннелей, заштрихованных блестящими рельсами, долго бьется и висит каждый рев, стук и свист. Белые блестящие рельсы становятся то желтыми, то красными, то зелеными от меняющихся семафоров. По всем направлениям — задушенная сводами, кажущаяся путаница поездов. Говорят, что наши эмигранты, приехавшие из тихой русской Канады, сначала недоумевающе вперяются в окно, а потом начинают реветь и голосить:

— Пропали, братцы, живьем в могилу загнали, куда ж отсюда выберешься?

Приехали.

Над нами ярусы станционных помещений, под залами — этажи служб, вокруг — необозримое железо дорог, а под нами еще подземное трехэтажное собвей.

В одном из фельетонов «Правды» товарищ Поморский скептически высмеял вокзалы Нью-Йорка и поставил

им в пример берлинские загоны — Цо и Фридрихштрассе.

Не знаю, какие личные счета у товарища Поморского с нью-йоркскими вокзалами, не знаю и технических деталей, удобства и пропускных способностей, но внешне — пейзажно, по урбанистическому ощущению, нью-йоркские вокзалы — один из самых гордых видов мира.

Я люблю Нью-Йорк в осенние деловые дни, в будни. 6 утра. Гроза и дождь. Темно и будет темно до полудня.

Одеваешься при электричестве, на улицах — электричество, дома в электричестве, ровно прорезанные окнами, как рекламный плакатный трафарет. Непомерная длина домов и цветные мигающие регуляторы движения двоятся, троются и десятируются асфальтом, до зеркала вылизанным дождем. В узких ущельях домов в трубе гудит какой-то авантюристичный ветер, срывает, громыхает вывесками, пытается свалить с ног и вбегает безнаказанный, никем не задержанный, сквозь версты десятка авеню, прорезывающих Мангеттен (остров Нью-Йорка) вдоль — от океана к Гудзону. С боков подвывают грозе бесчисленные голосенки узеньких стритов, также по линейному ровно режущих Мангеттен поперек от воды к воде. Под навесами — а в бездождный день просто на тротуарах — валяются кипы свежих газет, развезенные грузовиками заранее и раскиданные здесь газетчиками.

По маленьким кафе холостые пускают в ход машины тел, запихивают в рот первое топливо — торопливый стакан паршивого кофе и заварной бублик, который тут же в сотнях экземпляров кидает булкоделательная машина в кипящий и плюющийся котел сала.

Внизу сплошной человечиною течет, сначала до зари — черно-лиловая масса негров, выполняющих самые трудные, мрачные работы. Позже, к семи — непрерывно белый. Они идут в одном направлении сотнями тысяч к местам своих работ. Только желтые просмоленные дождевики бесчисленными самоварами шумят и горят в электричестве, намокшие, и не могут потухнуть даже под этим дождем.

Автомобилей, такси еще почти нет.

Толпа течет, заливая дыры подземок, выпирая в крытые ходы воздушных железных дорог, несясь по воздуху двумя

по высоте и тремя параллельными воздушными курьерскими, почти безостановочными, и местными через каждые пять кварталов останавливающимися поездами.

Эти пять параллельных линий по пяти авеню несутся на трехэтажной высоте, а к 120-й улице вскарабкиваются до восьмого и девятого, — и тогда новых, едущих прямо с площадей и улиц, вздымают лифты. Никаких билетов. Опустил в высокую, тумбой, копилку-кассу 5 центов, которые тут же увеличивает лупа и показывает сидящему в будке меняле, во избежание фальши.

5 центов — и езжай на любое расстояние, но в одном направлении.

Фермы и перекрытия воздушных дорог часто ложатся сплошным навесом во всю длину улицы, и вам не видно ни неба, ни боковых домов, — только грохот поездов по голове да грохот грузовозов перед носом, — грохот, в котором действительно не разберешь ни слова и, чтобы не разучиться шевелить губами, остается безмолвно жевать американскую жвачку, чуингвам.

Утром и в грозу лучше всего в Нью-Йорке — тогда нет ни одного зеваки, ни одного лишнего. Только работники великой армии труда десятиллионного города.

Рабочая масса расползается по фабрикам мужских и дамских платьев, по новым роющимся тоннелям подземок, по бесчисленности портовых работ — и к 8 часам улицы заполняются бесчисленностью более чистых и холеных, с подавляющей примесью стриженных, голоколенных, с закрученными чулками сухопарых девиц — работниц контор и канцелярий и магазинов. Их раскидывают по всем этажам небоскребов Дантауна, по бокам коридоров, в которые ведет парадный ход десятков лифтов.

Десятки лифтов местного сообщения с остановкой в каждом этаже и десятки курьерских — без остановок до семнадцатого, до двадцатого, до тридцатого. Своеобразные часы указывают вам этаж, на котором сейчас лифт, — лампы, отмечающие красным и белым спуск и подъем.

И если у вас два дела, — одно в седьмом, другое — в двадцать четвертом этаже, — вы берете местный (локал) до седьмого, и дальше, чтобы не терять целых шести минут, переседайте в экспресс.

До часу стрекочут машины, потеют люди без пиджаков, растут в бумагах столбцы цифр.

Если вам нужна контора, незачем ломать голову над ее устройством.

Вы звоните в какое-нибудь тридцатизэтажие:

— Алло! Приготовить к завтраму контору в 6 комнат. Посадить двенадцать машинисток. Вывеска — «Великая и знаменитая торговля сжатым воздухом для тихоокеанских подводных лодок». Два боя в коричневых гусарках — шапки со звездными лентами, и двенадцать тысяч бланков вышеупомянутого названия.

— Гуд бай.

Завтра вы можете идти в свою контору, и ваши телефонные мальчики будут вас восторженно приветствовать:

— Гау-ду-ю-ду, мистер Маяковский.

В час перерыв: на час для служащих и минут на пятнадцать для рабочих.

Завтрак.

Каждый завтракает в зависимости от недельной зарплаты. Пятнадцатидолларовые — покупают сухой завтрак в пакете за никель и грызут его со всем молодым усердием.

Тридцатипятидолларовые идут в огромный механический трактир, всунув 5 центов, нажимают кнопку, и в чашку выплескивается ровно отмеренный кофе, а еще два-три никеля открывают на огромных, уставленных едой полках одну из стеклянных дверок сандвичей.

Шестидесятидолларовые — едят серые блины с паточкой и яичницу по бесчисленным белым, как ванная, Чайльдсам — кафе Рокфеллера.

Стодолларовые и выше идут по ресторанам всех национальностей — китайским, русским, ассирийским, французским, индусским — по всем, кроме американских безвкусных, обеспечивающих катары консервированным мясом Армора, лежащим чуть не с войны за освобождение.

Стодолларовые едят медленно, — они могут и опоздать на работу, — и после ухода их под столом валяются пузырьки от восьмидесятиградусного виски (это прихваченный для компании); другой стеклянный или серебряный пузырек, плоский и формой облегающий ляжку, лежит в заднем кармане оружием любви и дружбы наравне с мексиканским кольцом.

Как ест рабочий?

Плохо ест рабочий.

Многих не видел, но те, кого видел, даже хорошо зара-

батывающие, в пятнадцатиминутный перерыв успевают сглотать у станка или перед заводской стеной на улице свой сухой завтрак.

Кодекс законов о труде с обязательным помещением для еды пока на Соединенные Штаты не распространился.

Напрасно вы будете искать по Нью-Йорку карикатурной, литературой прославленной организованности, методичности, быстроты, хладнокровия.

Вы увидите массу людей, слоняющихся по улице без дела. Каждый остановится и будет говорить с вами на любую тему. Если вы подымете глаза к небу и постоите минуту, вас окружит толпа, с трудом усовещиваемая полицейским. Способность развлекаться чем-нибудь иным, кроме биржи, сильно мирит меня с нью-йоркской толпой.

Снова работа до пяти, шести, семи вечера.

От пяти до семи самое бушующее, самое непроходимое время.

Окончившие труд еще разбавлены покупателями, покупщицами и просто фланерами.

На люднейшей 5-й авеню, делящей город пополам, с высоты второго этажа сотней катящихся автобусов, вы видите политые прошедшим дождем и теперь сияющие лаком десятки тысяч в шесть-восемь рядов рвущихся в обе стороны автомобилей.

Каждые две минуты тушатся зеленые огни на бесчисленных уличных полицейских маяках и загораются красные.

Тогда машинный и человеческий поток застывает на две минуты, чтобы пропустить рвущихся с боковых стритов.

Через две минуты опять на маяках загорается зеленый огонь, а дорогу боковым преграждает красный огонь на углах стритов.

Пятьдесят минут надо в этот час потратить на поездку, которая утром отняла бы четверть часа, и по две минуты надо простаивать пешеходу без всякой надежды пересечь немедленно улицу.

Когда вы запаздываете перебежать и видите срывающуюся с цепи отстоявшую две минуты машинную лавину, вы, забыв про убеждения, скрываетесь под полицейское крыло, — крыло так сказать: на самом деле это — хорошая рука одного из самых высоких людей Нью-Йорка с очень увесистой палкой — клобом.

Эта палка не всегда регулирует чужое движение. Иногда она (во время демонстрации, например) — способ вашей остановки. Добрый удар по затылку, и вам все равно: Нью-Йорк ли это или царский Белосток, — так рассказывали мне товарищи.

С шести-семи загорается Бродвей — моя любимейшая улица, которая в ровных, как тюремная решетка, стритах и авеню одна своенравно и нахально прет навкося. Запутаться в Нью-Йорке трудней, чем в Туле. На север с юга идут авеню, на запад с востока — стриты. 5-я авеню делит город пополам на Вест и Ист. Вот и все. Я на 8-й улице угол 5-й авеню, мне нужна 53-я угол 2-й, значит пройди 45 кварталов и сверни направо, до угла 2-й.

Загорается, конечно, не весь тридцативерстный Бродвейше (здесь не скажешь: заходите, мы соседи, оба на Бродвее), а часть от 25-й до 50-й улицы, особенно Таймс-сквер, — это, как говорят американцы, — Грэт-Уайт-Уэй — великий белый путь.

Он действительно белый, и ощущение действительно такое, что на нем светлей, чем днем, так как день весь светел, а этот путь светел, как день, да еще на фоне черной ночи. Свет фонарей для света, свет бегающих лампочками реклам, свет зарев витрин и окон никогда не закрывающихся магазинов, свет ламп, освещающих огромные малеванные плакаты, свет, вырывающийся из открывающихся дверей кино и театров, несущийся свет авто и элевейтеров, мелькающих под ногами в стеклянных окнах тротуаров, свет подземных поездов, свет рекламных надписей в небе.

Свет, свет и свет.

Можно читать газету, и притом у соседа, и на иностранном языке.

Светло и в ресторанах и в театральном центре.

Чисто на главных улицах и в местах, где живут хозяева или готовящиеся к этому.

Там, куда развозят большинство рабочих и служащих, в бедных еврейских, негритянских, итальянских кварталах — на 2-й, на 3-й авеню, между первой и тридцатой улицами — грязь почище минской. В Минске очень грязно.

Стоят ящики со всевозможными отбросами, из которых нищие выбирают не совсем объединенные кости и куски. Стынут вонючие лужи и сегодняшнего и позавчерашнего дождя.

Бумага и гниль валяются по щиколку — не образно по щиколку, а по-настоящему, всамделишно.

Это в 15 минутах ходу, в 5 минутах езды от блестящей 5-й авеню и Бродвея.

Ближе к пристаням еще темней, грязней и опасней.

Днем это интереснейшее место. Здесь что-нибудь обязательно грохочет — или труд, или выстрелы, или крики. Содрогают землю краны, разгружающие пароход, чуть не целый дом за трубу выволакивающие из трюма.

Ходят пикетчики в забастовку, не допуская штрейкбрехеров.

Сегодня, 10 сентября, нью-йоркский юнион моряков порта объявил забастовку в солидарность бастующим морякам Англии, Австралии и Южной Африки, и в первый же день приостановилась выгрузка 30 огромных пароходов.

Третьего дня, несмотря на забастовку, на пароходе «Мажестик», приведенном штрейкбрехерами, приехал богатый адвокат, лидер (здешних меньшевиков) социалистической партии Морис Гилквит, и тысячи коммунистов и членов Ай-добль-добль-ю свистели ему с берега и кидали тухлые яйца.

Еще через несколько дней здесь стреляли в приехавшего на какой-то конгресс генерала — усмирителя Ирландии, — и его выводили задворками.

А утром снова входят и разгружаются по бесчисленным пристаням бесчисленных компаний «Ля Франс», «Аквитания» и другие гиганты по 50 000 тонн.

Авеню, прилегающее к пристаням, из-за паровозов, въезжающих с товарами прямо на улицу, из-за грабителей, начиняющих кабачки, — зовется здесь «Авеню смерти».

Отсюда поставляются грабители-голдапы на весь Нью-Йорк: в отели вырезывать из-за долларов целые семьи, в собвей — загонять кассиров в угол меняльной будки и отбирать дневную выручку, меняя доллары проходящей, ничего не подозревающей публике.

Если поймают — электрический стул, тюрьмы Синг-Синга. Но можно и вывернуться. Идя на грабеж, бандит заходит к своему адвокату и заявляет:

— Позвоните мне, сэр, в таком-то часу туда-то. Если меня не будет, значит надо нести за меня залог и извлекать из узилища.

Залоги большие, но и бандиты не маленькие и организованы неплохо.

Выяснилось, например, что дом, оцененный в двести тысяч долларов, уже служит залогом в два миллиона, уплаченных за разных грабителей.

В газетах писали об одном бандите, вышедшем из тюрьмы под залог 42 раза. Здесь, на Авеню смерти, орудуют ирландцы. По другим кварталам другие.

Негры, китайцы, немцы, евреи, русские — живут своими районами со своими обычаями и языком, десятилетия сохраняясь в несмешанной чистоте.

В Нью-Йорке, не считая пригородов, 1 700 000 евреев (приблизительно),

1 000 000 итальянцев,

500 000 немцев,

300 000 ирландцев,

300 000 русских,

250 000 негров,

150 000 поляков,

300 000 испанцев, китайцев, финнов.

Загадочная картинка: кто же такие, в сущности говоря, американцы, и сколько их сто процентных?

Сначала я делал дикие усилия в месяц заговорить по-английски; когда мои усилия начали увенчиваться успехом, то близлежащие (близстоящие, сидящие) и лавочник, и молочник, и прачечник, и даже полицейский — стали говорить со мной по-русски.

Возвращаясь ночью элевейтером, эти нации и кварталы видишь как нарезанные: на 125-й встают негры, на 90-й русские, на 50-й немцы и т. д., почти точно.

В двенадцать выходящие из театров пьют последнюю соду, едят последний айсkrim и лезут домой в час или в три, если часа два потрутся в фокстроте или последнем крике «чарлстон». Но жизнь не прекращается, — так же открыты всех родов магазины, так же носятся собвей и элевейтеры, так же можете найти кино, открытое всю ночь, и спите сколько влезет за ваши 25 центов.

Придя домой, если весной и летом, закройте окна от комаров и москитов и вымойте уши и ноздри и откашляйте угольную пыль. Особенно сейчас, когда четырехмесячная забастовка 158 000 шахтеров твердого угля лишила город антрацита и трубы фабрик коптят обычно

запрещенным к употреблению в больших городах мягким углем.

Если вы исцарапались, залейтесь иодом: воздух нью-йоркский начинен всякой дрянью, от которой растут ячмени, вспухают и гноятся все царапины и которым все-таки живут миллионы ничего не имеющих и не могущих никуда выехать.

Я ненавижу Нью-Йорк в воскресенье: часов в 10 в одном лиловом трико подымает штору напротив какой-то клерк. Не надевая, видимо, штанов, садится к окну с двухфунтовым номером в сотню страниц — не то «Ворлд», не то «Таймса». Час читается сначала стихотворный и красочный отдел реклам универсальных магазинов (по которому составляется среднее американское мирозерцание), после реклам просматриваются отделы краж и убийств.

Потом человек надевает пиджак и брюки, из-под которых всегда выбивается рубаша. Под подбородком укрепляется раз навсегда завязанный галстук цвета помеси канарейки с пожаром и Черным морем. Одетый американец с час постарается посидеть с хозяином отеля или со швейцаром на стульях, на низких приступочках, окружающих дом, или на скамейках ближайшего лысого скверика.

Разговор идет про то, кто ночью к кому приходил, не слышно ли было, чтобы пили, а если приходили и пили, то не сообщить ли о них на предмет изгона и привлечения к суду прелюбодеев и пьяниц.

К часу американец идет завтракать туда, где завтракают люди богаче его и где его дама будет млеть и восторгаться над пулярой в 17 долларов. После этого американец идет в сотый раз в разукрашенный цветными стеклами склеп генерала и генеральши Грандт или, скинув сапоги и пиджак, лежать в каком-нибудь скверике на прочитанном полотнище «Таймса», оставив после себя обществу и городу обрывки газеты, обертку чуингвама и мятую траву.

Кто богаче — уже нагоняет аппетит к обеду, правя своей машиной, презрительно проносясь мимо дешевых и завистливо кося глаза на более роскошные и дорогие.

Особенную зависть, конечно, вызывают у безродных американцев те, у кого на автомобильной дверце баронская или графская золотая коронка.

Если американец едет с дамой, евшей с ним, он целует ее немедленно и требует, чтобы она целовала его. Без этой «маленькой благодарности» он будет считать доллары, уплаченные по счету, потраченными зря и больше с этой неблагодарной дамой никуда и никогда не поедет, — и саму даму засмеют ее благодарные и расчетливые подруги.

Если американец автомобилирует один, он (писаная нравственность и целомудрие) будет замедлять ход и останавливаться перед каждой одинокой хорошенькой пешеходкой, скалить в улыбке лошажины зубы и зазывать в авто диким вращением глаз. Дама, не понимающая его нервозности, будет квалифицироваться как дура, не понимающая своего счастья, возможности познакомиться с обладателем стосильного автомобиля.

Дикая мысль — рассматривать этого джентльмена как спортсмена. Чаще всего он умеет только править (самая мелочь), а в случае поломки — не будет даже знать, как накачать шину или как поднять домкрат. Еще бы — это сделают за него бесчисленные починочные мастерские и бензиновые киоски на всех путях его езды.

Вообще в спортсменство Америки я не верю.

Спортом занимаются главным образом богатые бездельницы.

Правда, президент Кулидж даже в своей поездке ежедневно получает телеграфные реляции о ходе бейсбольных состязаний между питсбургской командой и вашингтонской командой «сенаторов»; правда, перед вывешенными бюллетенями о ходе футбольных состязаний народу больше, чем в другой стране перед картой военных действий только что начавшейся войны, — но это не интерес спортсменов, это — хилый интерес азартного игрока, поставившего на пари свои доллары за ту или другую команду.

И если рослы и здоровы футболисты, на которых глядит тысяч семьдесят человек огромного нью-йоркского цирка, то семьдесят тысяч зрителей — это в большинстве тщедушные и хилые люди, среди которых я кажусь Голиафом.

Такое же впечатление оставляют и американские солдаты, кроме вербовщиков, выхваляющих перед плакатами привольную солдатскую жизнь. Недаром эти холеные молодцы в минувшую войну отказывались влезть во французский товарный вагон (40 человек или 8 лошадей) и требовали мягкий, классный.

Автомобилисты и из пешеходов побогаче и поизысканнее в 5 часов гонят на светский или полусветский фэйф-о-клок.

Хозяин запасаея бутылками матросского «джина» и лимонада «Джиннер Эйл», и эта помесь дает американское шампанское эпохи прогибишена.

Приходят девицы с завороченными чулками, стенографистки и модели.

Вошедшие молодые люди и хозяин, влекомые жаждой лирики, но мало разбирающиеся в ее тонкостях, острят так, что покраснеют и пунцовые пасхальные яйца, а потеряв нить разговора, похлопывают даму по ляжке с той непосредственностью, с которой, потеряв мысль, докладчик постукивает папиросой о портсигар.

Дамы показывают колени и мысленно прикидывают, сколько стоит этот человек.

Чтоб фэйф-о-клок носил целомудренный и артистический характер — играют в покер или рассматривают последние приобретенные хозяином галстуки и подтяжки.

Потом разъезжаются по домам. Переодевшись, направляются обедать.

Люди победнее (не бедные, а победнее) едят получше, богатые — похуже. Победнее едят дома свежешукупленную еду, едят при электричестве, точно давая себе отчет в проглатываемом.

Побогаче — едят в дорогих ресторанах поперченную портящуюся или консервную заваль, едят в полутьме потому, что любят не электричество, а свечи.

Эти свечи меня смешат.

Все электричество принадлежит буржуазии, а она ест при огарках.

Она неосознанно боится своего электричества.

Она смущена волшебником, вызвавшим духов и не умеющим с ними справиться.

Такое же отношение большинства и к остальной технике.

Создав граммофон и радио, они откидывают его плебсу, говорят с презрением, а сами слушают Рахманинова, чаще не понимают, но делают его почетным гражданином какого-то города и преподносят ему в золотом ларце — канализационных акций на сорок тысяч долларов.

Создав кино, они отшвыривают его демосу, а сами гонятся за оперными абонементом в опере, где жена

фабриканта Мак-Кормик, обладающая достаточным количеством долларов, чтобы делать все, что ей угодно, ревет белугой, раздирая вам уши. А в случае неосмотрительности капельдинеров закидывается гнилым яблоком и тухлым яйцом.

И даже когда человек «света» идет в кино, он бессовестно врет вам, что был в балете или в голом ревю.

Миллиардеры бегут с зашумевшей машинами, громной толпами 5-й авеню, бегут за город в пока еще тихие дачные углы.

— Не могу же я здесь жить, — капризно сказала мисс Вандербильт, продавая за 6 000 000 долларов свой дворец на углу 5-й авеню и 53-й улицы, — не могу я здесь жить, когда напротив Чайльдс, справа — булочник, а слева — парикмахер.

После обеда состоятельным — театры, концерты и обозрения, где билет первого ряда на голых дам стоит 10 долларов. Дуракам — прогулка в украшенном фонариками автомобиле в китайский квартал, где будут показывать сбыкновенные кварталы и дома, в которых пьется обыкновеннейший чай — только не американцами, а китайцами.

Парам победнее — многоместный автобус, на «Кони-Айланд» — Остров Увеселений. После долгой езды вы попадаете в сплошные русские (у нас американские) горы, высоченные колеса, вздымающие кабины, таитянские киоски, с танцами и фоном — фотографией острова, — чертовы колеса, раскидывающие ступивших, бассейны для купающихся, катание на осликах, — и все это в таком электричестве, до которого не доплюнуть и ярчайшей международной парижской выставке.

В отдельных киосках сбраны все отвратительнейшие уроды мира — женщина с бородой, челожек-птица, женщина на трех ногах и т. п., — существа, вызывающие неподдельный восторг американцев.

Здесь же постоянно меняющиеся, за грош нанимаемые голодные женщины, которых засовывают в ящик, демонстрируя безболезненное прокалывание шпагами; других сажают на стул с рычагами и электрифицируют, пока от их прикосновения к другому не посыплются искры.

Никогда не видел, чтобы такая гадость вызывала бы такую радость.

Кони-Айланд — приманка американского девичества.

Сколько людей целовалось в первый раз по этим вертящимся лабиринтам и окончательно решало вопрос о свадьбе в часовой обратной поездке собеем до города.

Таким идиотским карнавалом кажется, должно быть, счастливая жизнь нью-йоркским влюбленным.

Выходя, я решил, что неудобно покинуть луна-парк, не испытав ни одного удовольствия. Мне было все равно, что делать, и я начал меланхолически накидывать кольца на вертящиеся фигурки кукол.

Я предварительно осведомился о цене удовольствия. Восемь колец — 25 центов.

Кинув колец шестнадцать, я благородно протянул доллар, справедливо рассчитывая половину получить обратно.

Торговец забрал доллар и попросил показать ему мою мелочь. Не подозревая ничего недоброго, я вынул из кармана мелочь — доллара на три центов.

Колечник сгреб мелочь с ладони в карман и на мои возмущенные возгласы ухватил меня за рукав, потребовав предъявления бумажек. В удивлении, я вытащил имеющиеся у меня десять долларов, которые моментально сграбастал ненасытный увеселитель, — и только после молеб моих и моих спутников он выдал мне 50 центов на обратный путь.

Итого, по утверждению владельца милой игрушки, я должен был закинуть двести сорок восемь колец, то есть, считая даже по полминуты на каждое, проработать больше двух часов.

Никакая арифметика не помогла, а на мою угрозу обратиться к полицейскому мне было отвечено долго не смолкавшим грохотом хорошего, здорового смеха.

Полицейский, должно быть, усвоил себе из этой суммы — колец сорок.

Позднее мне объяснили американцы, что продавца надо было бить правильным ударом в нос, еще не получив и требования на второй доллар.

Если вам и тогда не возвращают денег, то все же уважают вас как настоящего американца, веселого «аттабоя».

Воскресная жизнь кончается часа в два ночи, и вся трезвая Америка, довольно пошатываясь, во всяком случае возбужденно идет домой.

Черты нью-йоркской жизни трудны. Легко наговорить ни к чему не обязывающие вещи, избитые, об американцах вроде: страна долларов, шакалы империализма и т. д.

Это только маленький кадр из огромной американской фильмы.

Страна долларов — это знает каждый ученик первой ступени. Но если при этом представляется та погоня за долларом спекулянтов, которая была у нас в 1919 году во время падения рубля, которая была в Германии в 1922 году во время тарахтения марки, когда тысячники и миллионеры утром не ели булки в надежде, что к вечеру она подешевеет, то такое представление будет совершенно неверным.

Скупые? Нет. Страна, съедающая в год одного мороженого на миллион долларов, может приобрести себе и другие эпитеты.

Бог — доллар, доллар — отец, доллар — дух святой.

Но это не грошовое скопидомство людей, только мирящихся с необходимостью иметь деньги, решивших накопить суммочку, чтобы после бросить наживу и сажать в саду маргаритки да проводить электрическое освещение в курятники любимых наседок. И до сих пор ньюйоркцы с удовольствием рассказывают историю 11-го года о ковбсе Даймонд Джиме.

Получив наследство в 250 000 долларов, он нанял целый мягкий поезд, уставил его вином и всеми своими друзьями и родственниками, приехал в Нью-Йорк, пошел обходить все кабаки Бродвея, спустил в два дня добрых полмиллиона рублей и уехал к своим мустангам без единого цента, на грязной подножке товарного поезда.

Нет! В отношении американца к доллару есть поэзия. Он знает, что доллар — единственная сила в его стодеятимиллионной буржуазной стране (в других тоже), и я убежден, что, кроме известных всем свойств денег, американец эстетически любит зеленый цвет доллара, отождествляя его с весной, и бычком в овале, кажущимся ему его портретом крепыша, символом его довольства. А дядя Линкольн на долларе и возможность для каждого демократа пробиться в такие же люди делает доллар лучшей и благороднейшей страницей, которую может прочесть

юношество. При встрече американец не скажет вам безразличное:

— Доброе утро.

Он сочувственно крикнет:

— Мек моней? (Делаешь деньги?) — и пройдет дальше.

Американец не скажет расплывчато:

— Вы сегодня плохо (или хорошо) выглядите.

Американец определит точно:

— Вы смотрите сегодня на два цента.

Или:

— Вы выглядите на миллион долларов.

О вас не скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в догадках, — поэт, художник, философ.

Американец определит точно:

— Этот человек стоит 1 230 000 долларов.

Этим сказано все: кто ваши знакомые, где вас принимают, куда вы уедете летом и т. д.

Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в Америке. Все — «бизнес», дело, — все, что растит доллар. Получил проценты с разошедшейся поэмы — бизнес, обокрал, не поймали — тоже.

К бизнесу приучают с детских лет. Богатые родители радуются, когда их десятилетний сын, забросив книжки, приволакивает домой первый доллар, вырученный от продажи газет.

— Он будет настоящим американцем.

В общей атмосфере бизнеса детская изобретательность растет.

В детском кемпе, в летнем детском пансионе-лагере, где закаляют детей плаванием и футболом, было запрещено ругаться при боксе.

— Как же драться, не ругаясь? — сокрушенно жаловались дети.

Один из будущих бизнесменов учел эту потребность.

На его палатке появилось объявление:

«За 1 никель выучиваю пяти русским ругательствам, за 2 никеля — пятнадцати».

Желающих выучиться ругаться без риска быть понятым преподавателями — набилась целая палатка.

Счастливый владелец русских ругательств, стоя посредине, дирижировал:

— Ну, хором — «дурак»!

- Дурак!
- Сволочь!
- Не «тволоч», а «сволочь».

Над сукиным сыном пришлось биться долго. Несмышленные американыши выговаривали «зукин-синь», а подсовывать за хорошие деньги недоброкачественные ругательства честный молодой бизнесмен не хотел.

У взрослых бизнес принимает грандиозные эпические формы.

Три года тому назад кандидату в какие-то доходные городские должности—мистеру Ригельману, надо было хвастнуть пред избирателями какой-нибудь альтруистической затеей. Он решил построить деревянный балкон на побережье для гуляющих по Кони-Айланду.

Владельцы прибрежной полосы запросили громадные деньги,— больше, чем могла бы дать будущая должность. Ригельман плюнул на владельцев, песком и камнем отогнал океан, создал полосу земли шириной в 350 футов и на три с половиной мили оправил берег идеальным дощатым настилом.

Ригельмана выбрали.

Через год он с лихвой возместил убытки, выгодно продав, в качестве влиятельного лица, все выдающиеся бока своего оригинального предприятия под рекламу.

Если даже косвенным давлением долларов можно победить должность, славу, бессмертие, то, непосредственно положив деньги на бочку, купишь все.

Газеты созданы трестами; тресты, воротилы трестов запродались рекламодателям, владельцам универсальных магазинов. Газеты в целом проданы так прочно и дорого, что американская пресса считается неподкупной. Нет денег, которые могли бы перекупить уже запроданного журналиста.

А если тебе цена такая, что другие дают больше, — докажи, и сам хозяин набавит.

Титул — пожалуйста. Газеты и театральные куплетисты часто трунят над кинозвездой Глорией Свенсен, бывшей горничной, ныне стоящей пятнадцать тысяч долларов в неделю, и ее красавцем мужем-графом, вместе с пакиновскими моделями и анановскими туфлями вывезенным из Парижа.

Любовь — извольте.

Вслед за обезьяньим процессом газеты стали трубить о мистере Браунинге.

Этот миллионер, агент по продаже недвижимого имущества, под старость лет обуялся юношеской страстью.

Так как брак старика с девушкой вещь подозрительная, миллионер пошел на удочерение.

Объявление в газетах:

<p>ЖЕЛАЕТ МИЛЛИОНЕР УДОЧЕРИТЬ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЮЮ</p>

12 000 лестных предложений с карточками красавиц посыпались в ответ. Уже в 6 часов утра четырнадцать девушек сидело в приемной мистера Браунинга.

Браунинг удочерил первую (слишком велико нетерпение) — по-детски распустившую волосья, красавицу-чешку Марию Спас. На другой день газеты стали захлебываться Мариным счастьем.

В первый день куплено 60 платьев.

Привезено жемчужное ожерелье.

За три дня подарки перевалили за 40 000 долларов.

И сам папаша снимался, облапив дочку за грудь, с выражением лица, которое впору показывать из-под полы перед публичными домами Монмартра.

Отцовскому счастью помешало известие, что мистер пытался попутно удочерить и еще какую-то тринадцатилетнюю из следующей пришедшей партии. Проблематичным извинением могло бы, пожалуй, быть то, что дочь оказалась девятнадцатилетней женщиной.

Там на три меньше, здесь на три больше «фифти-фифти», как говорят американцы — в общем, какая разница?

Во всяком случае папаша оправдывался не этим, а суммой счета, и благородно доказывал, что сумма его расходов на этот бизнес определенно указывает, что только он является страдающей стороной.

Пришлось вмешаться прокуратуре. Дальнейшее мне неизвестно. Газеты замолчали, будто долларов в рот набрали.

Я убежден, что этот самый Браунинг сделал бы серьезные коррективы в советском брачном кодексе, ущемляя его со стороны нравственности и морали.

Ни одна страна не городит столько моральной, возвышенной, идеалистической ханжеской чуши, как Соединенные Штаты.

Сравните этого Браунинга, развлекающегося в Нью-Йорке, с какой-нибудь местечковой тexasской сценкой, где банда старух в 40 человек, заподозрив женщину в проституции и в сожительстве с их мужьями, раздевает ее догола, окунает в смолу, вываливает в перо и в пух и изгоняет из городка сквозь главные сочувственно гогочущие улицы.

Такое средневековье рядом с первым в мире паровозом «Твенти-Сенчери-экспресс».

Типичным бизнесом и типичным ханжеством назовем и американскую трезвость, сухой закон «прогибишен». Виски продают все.

Когда вы зайдете даже в крохотный трактирчик, вы увидите на всех столах надпись: «Занято».

Когда в этот же трактирчик входит умный, он пересекает его, идя к противоположной двери.

Ему заслоняет дорогу хозяин, кидая серьезный вопрос: — Вы джентльмен?

— О да! — восклицает посетитель, предъявляя зелененькую карточку. Это члены клуба (клубов тысячи), говоря просто — алкоголики, за которых поручились. Джентльмена пропускают в соседнюю комнату, — там с засученными рукавами уже орудуют несколько коктейльщиц, ежесекундно меняя приходящим содержимое, цвета и форму рюмок длиннейшей стойки.

Тут же за двумя десятками столиков сидят завтракающие, любовно оглядывая стол, уставленный всевозможной питейностью. Пообедав, требуют:

— Шу бокс! (Башмачную коробку!) — и выходят из кабачка, волоча новую пару виски. За чем же смотрит полиция?

За тем, чтобы не надували при дележе.

У последнего пойманного оптовика «бутлегера» было на службе 240 полицейских.

Глава борьбы с алкоголем плачется в поисках за десятком честных агентов и грозит, что уйдет, так как таковые не находятся.

Сейчас уже нельзя отменить закон, запрещающий винную продажу, так как это невыгодно прежде всего торгов-

цам вином. А таких купцов и посредников — армия, — один на каждые пятьсот человек. Такая долларовая база делает многие, даже очень тонкие нюансы американской жизни простенькой карикатурной иллюстрацией к положению, что сознание и надстройка определяется экономикой.

Если перед вами идет аскетический спор о женской красе и собравшиеся поделились на два лагеря — одни за стриженных американок, другие за длинноволосых, то это не значит еще, что перед вами бескорыстные эстеты.

Нет.

За длинные волосы орут до хрипоты фабриканты шпилек, со стрижкой сократившие производство; за короткие волосы ратует трест владельцев парикмахерских, так как короткие волосы у женщин привели к парикмахерам целое второе стригущееся человечество.

Если дама не пойдет с вами по улице, когда вы несете сверток починенных башмаков, обернутых в газетную бумагу, то знайте — проповедь красивых свертков ведет фабрикант оберточной бумаги.

Даже по поводу такой сравнительно беспартийной вещи, как честность, имеющей целую литературу, — даже по этому поводу орут и ведут агитацию кредитные общества, дающие ссуду кассирам для внесения залогов. Этим важно, чтобы кассиры честно считали чужие деньги, не сбегали с магазинными кассами и чтобы незыблемо лежал и не пропадал залог.

Такими же долларными соображениями объясняется и своеобразная осенняя оживленная игра.

14 сентября меня предупредили — снимай соломенную шляпу.

15-го на углах перед шляпными магазинами стоят банды, сбивающие соломенные шляпы, пробивающие шляпные твердые днища и десятками нанизывающие продырявленные трофеи на руку.

Осенью ходить в соломенных шляпах неприлично.

На соблюдении приличий зарабатывают и торговцы мягкими шляпами и соломенными. Что бы делали фабриканты мягких, если бы и зимой ходили в соломенных? Что бы делали соломенные, если бы годами носили одну и ту же шляпу?

А пробивающие шляпы (иногда и с головой) получают от фабрикантов на чуингвам пошляпно.

Сказанное о нью-йоркском быте, это, конечно, не лицо. Так, отдельные черты — ресницы, веснушка, ноздря.

Но эти веснушки и ноздри чрезвычайно характерны для всей мещанской массы, — массы, почти покрывающей всю буржуазию; массы, заквашенной промежуточными слоями; массы, захлестывающей и обеспеченную часть рабочего класса. Ту часть, которая приобрела в рассрочку домик, выплачивает из недельного заработка за фордик и больше всего боится стать безработным.

Безработица — это пятенье обратно, выгон из неоплаченного дома, увод недоплаченного форда, закрытие кредита в мясной и т. д. А рабочие Нью-Йорка хорошо помнят ночи осени 1920—1921 года, когда 80 000 безработных спали в Централ-парке.

Американская буржуазия квалификацией и заработками ловко делит рабочих.

Одна часть — опора желтых лидеров с трехэтажными затылками и двухаршинными сигарами, лидеров, уже по-настоящему, попросту купленных буржуазией.

Другая — революционный пролетариат — настоящий, не вовлеченный мелкими шефами в общие банковские операции, — такой пролетариат и есть и борется. При мне революционные портные трех локалов (отделов) союза дамских портных — локалы второй, девятый и двадцать второй — повели долгую борьбу против вождя, председателя Мориса Зигмана, пытавшегося сделать союз смиренным отделом фабрикантовых лакеев. 20 августа была объявлена «Объединенным комитетом действия» антизигмановская демонстрация. Демонстрировало в Юнион-сквере тысячи две человек, и 30 000 рабочих из солидарности приостановили работу на два часа. Не зря демонстрация была в Юнион-сквере, против окон еврейской коммунистической газеты «Фрайгайт».

Была и чисто политическая демонстрация, непосредственно организованная компартией — по поводу недопущения в Америку английского депутата коммуниста Саклатвалы.

В Нью-Йорке 4 коммунистических газеты: «Новый мир» (русская), «Фрайгайт» (еврейская), «Щодінни вісті» (украинская) и финская.

«Дейли Воркер», центральный орган партии, издается в Чикаго.

Но эти газеты, при трех тысячах членов партии на Нью-Йорк, в одном Нью-Йорке имеют общий тираж в 60 000 экземпляров.

Переоценивать влияние этой коммунистически настроенной, в большинстве иностранной массы — не приходится, ждать в Америке немедленных революционных выступлений — наивность, но недооценивать шестьдесят тысяч — тоже было бы легкомыслием.

АМЕРИКА

Когда говорят «Америка», воображению представляются Нью-Йорк, американские дядюшки, мустанги, Кулидж и т. п. принадлежности Северо-Американских Соединенных Штатов.

Странно, но верно.

Странно — потому, что Америк целых три: Северная, Центральная и Южная.

САСШ не занимают даже всю Северную — а вот поди ж ты! — отобрали, присвоили и вместили название всех Америк.

Верно потому, что право называть себя Америкой Соединенные Штаты взяли силой, дредноутами и долларами, нагоняя страх на соседние республики и колонии.

Только за одно мое короткое трехмесячное пребывание американцы погромыхивали железным кулаком перед носом мексиканцев по поводу мексиканского пресекта национализации своих же неотъемлемых земельных недр; посылали отряды на помощь какому-то правительству, прогоняемому венецуэльским народом; недвусмысленно намекали Англии, что в случае неуплаты долгов может затрещать хлебная Канада; того же желали французам, и перед конференцией об уплате французского долга то посылали своих летчиков в Марокко на помощь французам, то вдруг становились марокканцелюбцами и из гуманных соображений отзывали летчиков обратно.

В переводе на русский: гони монету — получишь летчиков.

Что Америка и САСШ одно и то же — знали все. Кулидж только оформил это дельце в одном из последних декретов, назвав себя и только себя американцами. Напрасен протестующий рев многих десятков республик и даже других Соединенных Штатов (например, Соединенные штаты Мексики), образующих Америку.

Слово «Америка» теперь окончательно аннексировано.

Но что кроется за этим словом?

Что такое Америка, что это за американская нация, американский дух?

Америку я видел только из окон вагона.

Однако по отношению к Америке это звучит совсем не мало, так как вся она вдоль и поперек изрезана линиями. Они идут рядом то четыре, то десять, то пятнадцать. А за этими линиями только под маленьким градусом новые линии новых железнодорожных компаний. Единого расписания нет, так как главная цель этих линий не обслуживание пассажирских интересов, а доллар и конкуренция с соседним промышленником.

Поэтому, беря билет на какой-нибудь станции большого города, вы не уверены, что это самый быстрый, дешевый и удобный способ сообщения между необходимыми вам городами. Тем более, что каждый поезд — экспресс, каждый — курьерский и каждый — скорый.

Один поезд из Чикаго в Нью-Йорк идет 32 часа, другой — 24, третий — 20 и все называются одинаково — экспресс.

В экспрессах сидят люди, заложив за ленту шляпы проездной билет. Так хладнокровней. Не надо нервничать, искать билетов, а контролер привычной рукой лезет вам за ленту и очень удивляется, если там билета не оказалось. Если вы едете спальным пульмановским вагоном, прославленным и считающимся в Америке самым комфортабельным и удобным, — то все ваше существо организатора будет дважды в день, утром и вечером, потрясено бессмысленной, глупой возней. В 9 часов вечера дневной вагон начинают ломать, опускают востланные в потолок кровати, разворачивают постели, прикрепляют железные палки, нанизывают кольца занавесок, с грохотом вставляют железные перегородки — все эти хитрые приспособления приводятся в движение, чтобы по бокам вдоль вагона установить в два

яруса двадцать спальных коек под занавесками, оставив посредине узкий уже не проход, а пролаз.

Чтобы пролезть во время уборки, надо сплошь жонглировать двумя негритянскими задами уборщиков, головой ушедших в постилаемую койку.

Повернешь, выведешь его чуть не на площадку вагона, — вдвоем, особенно с лестницей для влезания на второй ярус, почти не разминешься, — затем меняешься с ним местами и тогда обратно влазишь в вагон. Раздеваясь, вы лихорадочно придерживаете расстегивающиеся занавески во избежание негодующих возгласов напротив вас раздевающихся шестидесятилетних организаторш какого-нибудь общества юных христианских девушек.

Во время работы вы забываете прижать вплотную вызывающиеся из-под занавесок голые ноги, и — проклинаемый пятипудовый негр ходит вразвалку по всем мозолям. С 9 утра начинается вакханалия разборки вагона и приведения вагона в «сидящий вид».

Наше европейское деление на купе даже жестких вагонов куда целесообразней американской пульмановской системы.

Что меня совсем удивило — это возможность опоздания поездов в Америке даже без особых несчастных причин.

Мне необходимо было срочно после лекции в Чикаго выехать ночью на лекцию в Филадельфию — экспрессной езды 20 часов. Но в это время ночи шел только один поезд с двумя пересадками, и кассир, несмотря на пятиминутный срок пересадки, не мог и не хотел гарантировать мне точности прибытия к вагону пересадки, хотя и прибавил, что шансов на опоздание немного. Возможно, что уклончивый ответ объяснялся желанием опозорить конкурирующие линии.

На остановках пассажиры выбегают, закупают пучки сельдерея и вбегают, жуя на ходу корешки.

В сельдерее — железо. Железо — полезно американцам. Американцы любят сельдерей.

На ходу мелькают нерасчищенные лески русского типа, площадки футболистов с разноцветными играющими — и техника, техника и техника.

Эта техника не застоялась, эта техника растет. В ней есть одна странная черта — снаружи, внешне эта техника производит недоделанное, временное впечатление.

Будто стройка, стены заводов не фундаментальные — однодневки, одногодки.

Телеграфные, даже часто трамвайные столбы сплошь да рядом деревянные.

Огромные газовые вместилища, спичка в которые снежет полгорода, кажутся не охраняемыми. Только на время войны была приставлена стража.

Откуда это?

Мне думается — от рваческого, завоевательского характера американского развития.

Техника здесь шире всеобъемлющей германской, но в ней нет древней культуры техники — культуры, которая заставила бы не только нагромождать корпуса, но и решетки и двор перед заводом организовать сообразно со всей стройкой.

Мы ехали из Бикона (в шести часах езды от Нью-Йорка) и попали без всякого предупреждения на полную перестройку дороги, на которой не было оставлено никакого места для автомобилей (владельцы участков мостили, очевидно, для себя и мало заботились об удобствах проезда). Мы свернули на боковые дороги и находили путь только после опроса встречных, так как ни одна надпись не указывала направление.

В Германии это немыслимо ни при каких условиях, ни в каком захолустьи.

При всей грандиозности строений Америки, при всей недостижимости для Европы быстроты американской стройки, высоты американских небоскребов, их удобств и вместительности — и дома Америки в общем производят странное временное впечатление.

Может быть, это кажущееся.

Кажется оттого, что на вершине огромного дома стоит объемистый водяной бак. Воду до шестого этажа подает город, а дальше дом управляется сам. При вере во всемогущество американской техники такой дом выглядит подогнанным, наскоро переделанным из какой-то другой вещи и подлежащим разрушению по окончании быстрой надобности.

Эта черта совсем отвратительно выступает в постройках, по самому своему существу являющихся временными.

Я был на Раковой-бич (нью-йоркский дачный поселок; пляж для людей среднего достатка). Ничего гаже строе-

ний, облепивших берег, я не видел. Я не мог бы прожить в таком карельском портсигаре и двух часов.

Все стандартизированные дома одинаковы, как спичечные коробки, одного названия, одной формы. Дома насажены, как пассажиры весеннего трамвая, возвращающегося из Сокольников в воскресенье вечером. Открыв окно уборной, вы видите все, делающееся в соседней уборной, а если у соседа приоткрыта дверь, то видите сквозь дом и уборную следующих дачников. Дома по ленточке улочек вытянулись, как солдаты на параде — ухо к уху. Материал строений таков, что слышишь не только каждый вздох и шепот влюбленного соседа, но сквозь стенку можешь различить самые тонкие нюансы обеденных запахов на соседском столе.

Такой поселок — это совершеннейший аппарат провинциализма и сплетни в самом мировом масштабе.

Даже большие новейшие удобнейшие дома кажутся временными, потому что вся Америка, Нью-Йорк в частности, в стройке, в постоянной стройке. Десятиэтажные дома ломают, чтобы строить двадцатиэтажные; двадцатиэтажные — чтоб тридцати, тридцати — чтоб сорока и т. д.

Нью-Йорк всегда в грудах камней и стальных переплетов, в визге сверл и ударах молотков.

Настоящий и большой пафос стройки.

Американцы строят так, как будто в тысячный раз разыгрывают интереснейшую разученнейшую пьесу. Отрваться от этого зрелища ловкости, сметки — невозможно.

На простую землю ставится землечерпалка. Она с лязгом, ей подобающим, выгрызает и высасывает землю и тут же плюет ее в непрерывно проходящие грузовозы. По середине стройки поднимают фермчатый подъемный кран. Он берет огромные стальные трубы и вбивает их паровым молотом (сопящим, будто в насморке вся техника) в твердую землю, как мелкие обойные гвозди. Люди только помогают молоту усесться на трубу да по ватерпасу меряют наклоны. Другие лапы крана поднимают стальные стойки и перекладины, без всяких шероховатостей сающиеся на место, — только сбей да свинти!

Подымается постройка, вместе с ней подымается кран, как будто дом за косу подымается с земли. Через месяц, а то и раньше, кран снимут — и дом готов.

Это примененное к домам знаменитое правило выделки пушек (берут дырку, обливают чугуном, вот и пушка): взяли кубический воздух, обвинтили сталью, и дом готов. Трудно отнестись серьезно, относишься с поэтической вдохновенностью к какому-нибудь двадцатизэтажному Кливландскому отелю, про который жители говорят: здесь от этого дома очень тесно (совсем как в трамвае — подвиньтесь, пожалуйста) — поэтому его переносят отсюда за десять кварталов, к озеру.

Я не знаю, кто и как будет переносить эту постройку, но если такой дом вырвется из рук, он отдавит много мозолей.

Бетонная стройка в десяток лет совершенно меняет облик больших городов.

Тридцать лет назад В. Г. Короленко, увидев Нью-Йорк, записывал:

«Сквозь дымку на берегу виднелись огромные дома в шесть и семь этажей...»

Лет пятнадцать назад Максим Горький, побывавши в Нью-Йорке, доводит до сведения:

«Сквозь косой дождь на берегу были видны дома в пятнадцать и двадцать этажей».

Я бы должен был, чтобы не выходить из рамок, очевидно, принятых писателями приличий, повествовать так:

«Сквозь косой дым можно видеть ничего себе дома в сорок и пятьдесят этажей...»

А будущий поэт после такого путешествия запишет:

«Сквозь прямые дома в неисследованное количество этажей, вставшие на нью-йоркском берегу, не были видны ни дымы, ни косые дожди, ни тем более какие-то дымки».

Американская нация.

О ней больше, чем о какой-нибудь другой, можно сказать словами одного из первых революционных плакатов:

«Американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные».

Сынки чикагских миллионеров убивают детей (дело Лоеба и компании) из любопытства, суд находит их ненормальными, сохраняет их драгоценную жизнь, и «ненормальные» живут заведующими тюремных библиотек, восхищая сотюремников изящными философскими сочинениями.

Защитники рабочего класса (дело Ванцетти и других товарищей) приговариваются к смерти — и целые комитеты,

организованные для их спасения, пока не в силах заставить губернатора штата отменить приговор. Буржуазия вооружена и организована. Ку-Клукс-Клан¹ стал бытовым явлением.

Портные Нью-Йорка в дни маскарадного съезда кланцев публиковали рекламы, заманивая заказчиков высоких шапок и белых халатов:

— Вельком², Ку-Клукс-Клан!

В городах иногда появляются известия, что такой-то куксин вождь убил такого-то и еще не пойман, другой (без фамилии) изнасиловал уже третью девушку и выкинул из автомобиля и тоже ходит по городу без малейшего признака кандалов.

Рядом с боевой клановской организацией — мирные масонские. Сто тысяч масонов в пестрых восточных костюмах в свой предпраздничный день бродят по улицам Филадельфии.

Эта армия еще сохранила логи и иерархию, попрежнему объясняется таинственными жестами, манипулированием каким-то пальцем у какой-то жилетной пуговицы рисует при встречах таинственные значки, но на деле в большей своей части давно стала своеобразным учраспредом крупных торговцев и фабрикантов, назначающим министров и важнейших чиновников страны. Дико, должно быть, видеть это средневековое, шествующее по филадельфийским улицам под окнами типографии газеты «The Philadelphia Inquirer», выкидывающей ротационками 450 000 газет в час.

Рядом с этой теплой компанийкой — странное существование легализованной, очевидно для верности наблюдения, рабочей компартии Америки и более чем странное — осмеливающихся на борьбу профессиональных союзов.

Я видел в первый день приезда в Чикаго, в холод и проливной дождь, такую дикую картину.

Вокруг огромного фабричного здания без остановок ходят мокрые, худые, продрогшие люди, с мостовых зорко смотрят рослые, жирные, промакинтошенные полисмены.

¹ Организация американских фашистов. (Прим. автора.)

² Добро пожаловать. (Ред.)

На фабрике забастовка. Рабочие должны отгонять штрейкбрехеров и оповещать нанятых обманным путем.

Но останавливаться они не имеют права — остановившегося арестует полиция на основании законов против пикетчиков. Говори — на ходу, бей — на ходу. Своеобразный десятичасовой скороходный рабочий день.

Не меньшая острота и национальных взаимоотношений Америки. Я писал уже о массе иностранцев в Америке (она вся, конечно, объединение иностранцев для эксплуатации, спекуляции и торговли), — они живут десятками лет, не теряя ни языка, ни обычаев.

В еврейском Нью-Йорке на новый год, совсем как в Шав-лях, увидишь молодых людей и девушек, разодетых не то для свадьбы, не то для раскрашенной фотографии: лакированные башмаки, оранжевые чулки, белое кружевное платье, пестрый платок и испанский гребень в волосах — для женщин; а для мужчин при тех же туфлях какая-то помесь из сюртука, пиджака и смокинга. И на животе или настоящего или американского золота цепь — размером и весом цепей, закрывающих черный ход от бандитов. На помогающих службе — полосатые шали. У детей сотни поздравительных открыток с сердцами и голубками, — открыток, от которых эти дни беременеют все почтальоны Нью-Йорка и которые являются единственным предметом широкого потребления всех универсальных магазинов во все предпраздничные дни.

В другом районе так же обособленно живут русские, и американцы ходят в антикварные магазины этого района покупать экзотический самовар.

Язык Америки — это воображаемый язык Вавилонского столпотворения, с той только разницей, что там мешали языки, чтобы никто не понимал, а здесь мешают, чтоб понимали все. В результате из английского, скажем, языка получается язык, который понимают все нации, кроме англичан.

Недаром, говорят, в китайских лавках вы найдете надпись:

«ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ
И ПОНИМАЮТ ПО-АМЕРИКАНСКИ»

Мне, не знающему английский язык, все-таки легче понимать скупословного американца, чем сыплющего словами русского.

Русский называет:

трамвай — стриткарой,
угол — корнером,
квартал — блоком,
квартиранта — бордером,
билет — тикетом,

а выражается так:

«Вы поедете без меняния пересадок».

Это значит, что у вас беспересадочный билет.

Под словом «американец» у нас подразумевают помесь из эксцентричных бродяг О. Генри, Ника Картера с неизменной трубкой и клетчатых ковбоев киностудии Кулешова.

Таких нет совсем.

Американцем называет себя белый, который даже еврея считает чернокожим, негра не подает руки; увидев негра с белой женщиной, негра револьвером гонит домой; сам безнаказанно насилует негритянских девочек, а негра, приблизившегося к белой женщине, судит судом Линча, то есть сбывает ему руки, ноги и живого жарит на костре. Обычай почище нашего «дела о сожжении в деревне Листвяны цыган-конокрадов».

Почему американцами считать этих, а не негров, например?

Негров, от которых идет и так называемый американский танец — фокс и шимми, и американский джаз! Негров, которые издают многие прекрасные журналы, например «Opportunity». Негров, которые стараются найти и находят свою связь с культурой мира, считая Пушкина, Александра Дюма, художника Генри Тэна и других работниками своей культуры.

Сейчас негр-издатель Каспер Гольштейн объявил премию в 100 долларов имени величайшего негритянского поэта А. С. Пушкина за лучшее негритянское стихотворение.

Первого мая 1926 года этот приз будет разыгран.

Почему неграм не считать Пушкина своим писателем? Ведь Пушкина и сейчас не пустили бы ни в одну «порядочную» гостиницу и гостиную Нью-Йорка. Ведь у Пушкина

были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями.

Когда закачаются так называемые весы истории, многое будет зависеть от того, на какую чашку положат 12 миллионов негров 24 миллиона своих увесистых рук. Подогретые техасскими кострами, негры — достаточно сухой порох для взрывов революции.

Дух, в том числе и американский, вещь бестелая, даже почти не вещь; контор не нанимает, экспортируется слабо, тоннажа не занимает — и если что сам потребляет, то только виски, и то не американское, а привозное.

Поэтому духом интересуются мало, и то в последнее время, когда у буржуазии после разбойничьего периода эксплуатации появилось некоторое спокойное, уверенное добродушие, некоторый жировой слой буржуазных поэтов, философов, художников.

Американцы завидуют европейским стилям. Они отлично понимают, что за свои деньги они могли бы иметь не четырнадцать, а хоть двадцать восемь Людовиков, а спешка и привычка к точному осуществлению намеченного не дают им желания и времени ждать, пока сегодняшняя стройка утрясется в американский стиль. Поэтому американцы закупают художественную Европу — и произведения и артистов, дико украшая сороковые этажи каким-нибудь ренессансом, не интересуясь тем, что эти статуэтки да завитушки хороши для шестизэтажных, а выше незаметны вовсе. Помещать же ниже эти стильные финтифлюшки нельзя, так как они будут мешать рекламам, вывескам и другим полезным вещам.

Верхом стильного безобразия кажется мне один дом около публичной библиотеки: весь гладкий, экономный, стройный, черный, но с острой крышей, выкрашенной для красоты золотом.

В 1912 году одесские поэты вызолотили для рекламы нос кассирше, продававшей билеты на стиховечер.

Запоздавший гипертрофированный плагиат.

Улицы Нью-Йорка украшены маленькими памятниками писателей и артистов всего мира. Стены института Корнеги расписаны именами Чайковского, Толстого и других.

В последнее время против непереваренной эклектической пошлости подымается голос молодых работников искусства.

«...Мне говорят: ты подл, и я отвечаю: да, это правда—я видел, как бандит убил и остался безнаказанным. Мне говорят, что ты жесток, и мой ответ: на лицах женщин и детей я видел следы бесстыдного голода. Бросая ядовитые насмешки за работой, все наваливающейся работой,—это высокий дерзкий хулиган на фоне хрупких городишек.

С непокрытой головой
роющий,
рушащий,
готовящий планы,
строющий, ломающий, восстанавливающий.

Смеющийся бурным хриплым задорным смехом юности. Полуголый, пропотевший, гордый тем, что он режет свиней, производит инструменты, наваливает хлебом амбары, играет железными дорогами и перебрасывает грузы Америки».

Путеводители и старожилы говорят:

«Чикаго:

Самые большие бойни.

Самый большой заготовщик лесных материалов.

Самый большой мебельный центр.

Самый большой производитель сельскохозяйственных машин.

Самый большой склад пианино.

Самый большой фабрикант железных печей.

Самый крупный железнодорожный центр.

Самый большой центр по рассылке покупок почтой.

Самый людный угол в мире.

Самый проходимый мост на земном шаре Bush street bridge.

Самая лучшая система бульваров во всем земном шаре — ходи по бульварам, обходи Чикаго, не выйдя ни на какую улицу».

Все самое, самое, самое...

Чем же это город Чикаго?

Если все американские города насыпать в мешок, перетряхнуть дома, как цифры лото, то потом и сами мэры города не смогут отобрать свое бывшее имущество.

Но есть Чикаго, и этот Чикаго отличен от всех других городов — отличен не домами, не людьми, а своей особой по-чикагски направленной энергией.

В Нью-Йорке многое для декорации, для виду.

Белый путь — для виду, Кони-Айланд — для виду, даже пятидесятиэтажный Вульворт-Бильдинг — для втирания провинциалам и иностранцам очков.

Чикаго живет без хвастовства.

Показная небоскрежная часть узка, притиснута к берегу громадой фабричного Чикаго.

Чикаго не стыдится своих фабрик, не отступает с ними на окраины. Без хлеба не проживешь, и Мак Кормик выставляет свои заводы сельскохозяйственных машин центральной, даже более гордо, чем какой-нибудь Париж — какой-нибудь Нотр-Дам.

Без мяса не проживешь, и нечего кокетничать вегетарианством, — поэтому в самом центре кровавое сердце — бойни.

Чикагские бойни — одно из гнуснейших зрелищ моей жизни. Прямо фордом вы въезжаете на длинейший деревянный мост. Этот мост перекинут через тысячи загон для быков, телят, баранов и для всей бесчисленности мировых свиней. Визг, мычание, блеяние — неповторимое до конца света, пока людей и скотину не прищемят сдвигающимися скалами — стоит над этим местом. Сквозь сжатые ноздри лезет кислый смрад бычьей мочи и дерма скотов десятка фасонов и миллионного количества.

Воображаемый или настоящий запах целого разливного моря крови занимается вашим головокружением.

Разных сортов и калибров мухи с луга и жидкой грязи перепархивают то на коровьи, то на ваши глаза.

Длинные деревянные коридоры уводят упирающийся скот.

Если бараны не идут сами, их ведет выдрессированный козел.

Коридоры кончаются там, где начинаются ножи свинобоев и быкобойцев.

Живых визжащих свиней машина подымает крючком, зацепив их за живую ножку, перекидывает их на непрерывную цепь, — они вверх ногами проползают мимо ирландца или негра, втыкающего нож в свинячье горло. По несколько тысяч свиней в день режет каждый — хвастался боевский провожатый.

Здесь визг и хрип, а в другом конце фабрики уже пломбы кладут на окорока, молниями вспыхивают на солнце

градом выбрасываемые консервные жестянки, дальше грузятся холодильники — и курьерскими поездами и пароходами едет ветчина в колбасные и рестораны всего мира.

Минут пятнадцать едем мы по мосту только одной компании.

А со всех сторон десятки компаний орут вывесками:

Вильсон!

Стар!

Свифт!

Гамонд!

Армор!

Впрочем, все эти компании, вопреки закону, одно объединение, один трест. В этом тресте главный — Армор, — судите по его охвату о мощи всего предприятия.

У Армора свыше 100 000 рабочих; одних конторщиков имеет Армор 10—15 тысяч.

400 миллионов долларов — общая ценность арморовских богатств. 80 000 акционеров разобрали акции, дрожат над целостью арморовского предприятия и снимают пылинки с владельцев.

Половина акционеров рабочие (половина, конечно, по числу акционеров, а не акций), рабочим дают акции в рассрочку — один доллар в неделю. За эти акции приобретает временно смирение отсталых боенских рабочих.

Армор горд.

Шестьдесят процентов американской мясной продукции и десять процентов мировой дает один Армор.

Консервы Армора ест мир.

Любой может наживать катар.

И во время мировой войны на передовых позициях были консервы с подновленной этикеткой. В погоне за новыми барышами Армор сбавлял четырехлетние яйца и консервированное мясо призывного возраста — в 20 лет!

Наивные люди, желая посмотреть столицу Соединенных Штатов, едут в Вашингтон. Люди искушенные едут на крохотную улочку Нью-Йорка — Вол-стрит, улицу банков, улицу — фактически правящую страной.

Это верней и дешевле вашингтонской поездки. Здесь, а не при Кулидже должны держать своих послов иностранные державы. Под Вол-стрит тоннель-собвей; а если набить его динамитом и пустить на воздух к чертям свинячим всю эту улочку!

Взлетят в воздух книги записей вкладов, названия и серии бесчисленных акций да столбцы иностранных долгов.

Вол-стрит — первая столица, столица американских долларов. Чикаго — вторая столица, столица промышленности.

Поэтому не так неверно поставить Чикаго вместо Вашингтона. Свинобой Вильсон не меньше влияет на жизнь Америки, чем влиял его однофамилец Вудро.

Бойни не проходят бесследно. Поработав на них, или станешь вегетарианцем, или будешь спокойно убивать людей, когда надоест развлекаться кинематографом. Недаром Чикаго — место сенсационных убийств, место легендарных бандитов.

Недаром в этом воздухе из каждых четырех детей — один умирает до года.

Понятно, что грандиозность армии трудящихся, мрак чикагской рабочей жизни именно здесь вызывает трудящихся на самый больший в Америке отпор.

Здесь главные силы рабочей партии Америки.

Здесь центральный комитет.

Здесь центральная газета — «Daily Worker».

Сюда обращается партия с призывами, когда надо из скудного заработка создать тысячи долларов.

Голосом чикагцев орет партия, когда нужно напомнить министру иностранных дел мистеру Келлогу, что он напрасно пускает в Соединенные Штаты только служителей долларов, что Америка не келлоговский дом, что рано или поздно — а придется пустить и коммуниста Саклатвала и других посланцев рабочего класса мира.

Не сегодня и не вчера вступили рабочие чикагцы на революционный путь.

Так же как в Париже приезжие коммунисты идут к обстрелянной стене коммунаров, — так в Чикаго идут к могильной плите первых повешенных революционеров.

1 мая 1886 года рабочие Чикаго объявили всеобщую забастовку. 3 мая у завода Мак Кормик была демонстрация, во время которой полиция спровоцировала выстрелы. Выстрелы эти явились оправданием полицейской стрельбы и дали повод выловить зачинщиков.

Пять товарищей: Август Спайес, Адольф Фишер, Альберт Парсонн, Луи Линч и Жорж Энгель — были повешены.

Сейчас на камне их братской могилы слова речи одного из обвиняемых:

«Придет день, когда наше молчание будет иметь больше силы, чем наши голоса, которые вы сейчас заглушаете».

Чикаго не бьет в нос шиком техники — но даже внешность города, даже его наружная жизнь показывает, что он больше других городов живет производством, живет машиной.

Здесь на каждом шагу перед радиатором вздымается подъемный мост, пропуская пароходы и баржи к Мичигану. Здесь, проезжая по висящему над железнодорожными линиями мосту, вы будете в любой час утра обволокнуты дымом и паром сотен бегущих паровозов.

Здесь на каждом повороте автомобильного колеса мелькают бензинные киоски королей нефти — Стандарт Ойл и Синклер.

Здесь всю ночь мигают предупреждающие автофонари перекрестков и горят подземные лампы, деля тротуары во избежание столкновений. Здесь специальные конные полицейские записывают номера автомобилей, простоявших перед домом более получаса. Если разрешать останавливаться на улицах всегда и всем, автомобили б стояли и в десять рядов и в десять ярусов.

Вот почему и весь в садах Чикаго должен быть изображаем на одном винте и сплошь электро-динамо-механическим. Это не в защиту собственной поэмы, это — в утверждение права и необходимости поэту организовывать и переделывать видимый материал, а не полировать видимое.

Путеводитель описал Чикаго верно и непохоже.

Самбор описал и неверно и непохоже.

Я описал неверно, но похоже.

Критики писали, что мое Чикаго могло быть написано только человеком, никогда не выдавшим этого города.

Говорили: если я увижу Чикаго, я изменю описание.

Теперь я Чикаго видел. Я проверил поэму на чикагцах — она не вызывала у них скептических улыбок — наоборот, как будто показывала другую чикагскую сторону.

Детройт — второй и последний американский город, на котором остановлюсь. К сожалению, мне не пришлось видеть деревенских хлебных мест. Американские дороги страшно дóроги. Пульман до Чикаго 50 долларов (100 рублей).

Я мог ездить только туда, где большие русские и, конечно, рабочие колонии. Мои лекции устраивали «Новый мир» и «Фрайгайт» — русская и еврейская газеты рабочей партии Америки.

В Детройте 20 тысяч русских.

В Детройте 80 тысяч евреев.

В большинстве это бывшие нищие — россияне, помнящие о ней всякой дрянью, приехавшие лет 20 тому назад и поэтому дружелюбно, во всяком случае внимательно относящиеся к Советскому Союзу. Исключение — группа врангельцев, вывезенных из Константинополя седыми и лысыми вождями союза христианской молодежи, но и эта публика скоро обомнется. Доллар лучше всякой агитации разлагает белую эмиграцию. Пресловутая Кирилица, которую американцы называли «принцесс Сирил», явившаяся в Америку за вашингтонским признанием, быстро сдала — нашла себе бойкого предпринимателя-менеджера и стала раздавать в целование свою ручку от 10 до 15 долларов в нью-йоркском Мондеймординг — опера-клуб.

Даже «принц» Борис пустился в Нью-Йорке во все тяжкие.

Обрывая лавры Родченко, он стал заниматься настоящим фотомонтажем, писал статьи из бывшей придворной жизни, точно перечислял, когда и с кем пьянствовали цари, иллюстрируя фельетоны царями с примонтаженными им на колени балеринами, вспоминал, когда и с каким царем играл в карты, кстати и примонтировав бывших царей к пейзажам всехсветных казино. От этой борисовской литературы приуныли самые матерые белогвардейцы. Как, мол, с такими персонами вести агитацию за воцарение белогвардейщины? Даже белые газеты писали с грустью — такие выступления совсем засморкали идеи монархизма. Вновь привезенные, еще неученые белогвардейцы тычутся по предприятиям, многих усыновил благосклонный ко всякой белизне Форд.

Фордовские рабочие показывают таких русским новичкам: смотрите, здесь ваш царь работает. Царь работает

мало — есть у Форда какой-то бессловесный приказ о моментальном приеме и незатруднении работой нанявшихся русских белых.

В Детройте много огромных мировых предприятий, например Парк Девис — медикаменты. Но слава Детройта — автомобили.

Не знаю, на сколько человек здесь приходится один автомобиль (кажется, на четыре), но я знаю, что на улицах их много больше, чем людей.

Люди заходят в магазины, конторы, в кафе и столовые, — автомобили ждут их у дверей. Стоят сплошными рядами по обеим сторонам улицы. Митингами сгрудились на особых озаборенных площадях, где машину позволяют ставить за 25—35 центов.

Вечером желающему поставить автомобиль надо съехать с главной улицы в боковую, да и там поездить минут десять, а поставив в обнесенный загон, ждать потом, пока ее будут выволакивать из-за тысяч других машин.

А так как автомобиль больше человека, а человек, который выйдет, тоже садится в автомобиль, то нерушимое впечатление: машин больше людей.

Здесь фабрики:

Пакард,

Кадилак,

бр. Дейч, вторая в мире — 1 500 машин в день.

Но над всем этим царит слово — Форд.

Форд укрепился здесь, и 7 000 новых фордиков выбегают каждый день из ворот его безостановочно работающих ночью и днем фабрики.

На одном конце Детройта — Гайланд-парк, с корпусами на 45 тысяч рабочих, на другом — Риверруж, с 60 тысячами. Да и еще в Дирборне, за 17 миль от Детройта — авиасборочный завод.

На Фордовский завод я шел в большом волнении. Его книга, изданная в Ленинграде в 1923 году, уже имеет пометку — 45-я тысяча; фордизм — популярнейшее слово организаторов труда; о предприятии Форда говорят чуть ли не как о вещи, которую без всяких перемен можно перенести в социализм.

Профессор Лавров в предисловии к 5-му изданию фордовской книги пишет: «Появилась книга Форда... непревзойденная модель автомобиля... последователи Форда

жалки, причина последнего кроется в талантливости изобретенной Фордом системы, которая, как всякая совершенная система, только и гарантирует лучшую организацию...» и т. д. и т. д.

Сам Форд говорит: цель его теории — создать из мира источник радости (социалист!); если мы не научимся лучше пользоваться машинами, у нас не станет времени для того, чтобы наслаждаться деревьями и птицами, цветами и лугами. «Деньги полезны лишь постольку, поскольку они способствуют жизненной свободе (капиталиста?)». «Если служишь ради самого служения, ради удовлетворения, которое дается сознанием правоты дела, то деньги сами собой появляются в избытке» (не замечал!). «Шеф (Форд) компаньон своего рабочего, а рабочий товарищ своего шефа». «Мы не хотим тяжелого труда, истощающего людей. Каждый рабочий Форда должен и может обдумывать улучшение дела, — и тогда он кандидат в Форды», и т. д. и т. д.

Я нарочно не останавливаюсь на ценных и интересных мыслях книги — о них раструблено достаточно, и не для них книга писана.

На завод водят группами, человек по 50. Направление одно, раз навсегда. Впереди фордовец. Идут гуськом, не останавливаясь.

Чтобы получить разрешение, заполняешь анкету в комнате, в которой стоит испещренный надписями юбилейный десятимиллионный Форд. Карманы вам набивают фордовскими рекламками, грудками лежащими по столам. У анкетщиков и провожающих вид как у состарившихся, вышедших на пенсию зазывал распродажных магазинов.

Пошли. Чистота вылизанная. Никто не остановится ни на секунду. Люди в шляпах, ходят, посматривая, и делают постоянные отметки в каких-то листках. Очевидно, учет рабочих движений. Ни голосов, ни отдельных погромываний. Только общий серьезный гул. Лица зеленоватые, с черными губами, как на киносъемках. Это от длинных ламп дневного света. За инструментальной, за штамповальной и литейной начинается знаменитая фордовская цепь. Работа движется перед рабочим. Садятся голые шасси, как будто автомобили еще без штанов. Кладут надколесные крылья, автомобиль движется с вами вместе к моторщикам, краны сажают в кузов, подкатываются колеса, бубликами из-под потолка беспрерывно скатываются

шины, рабочие с-под цепи снизу что-то подбивают молотком. На маленьких низеньких вагонеточках липнут рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль приобретает облик на одном из последних этапов, в авто садится шофер, машина съезжает с цепи и сама выкатывается во двор.

Процесс, уже знакомый по кино, — но выходишь все-таки обалделый.

Еще через какие-то побочные отделы (Форд все части своей машины от нитки до стекла делает сам), с тюками шерсти, с летающими над головой на цепях подъемных кранов тысячами пудов коленчатых валов, мимо самой мощной в мире фордовской электростанции, выходим на Woodword — улица.

Мой сотоварищ по осмотру — старый фордовский рабочий, бросивший работу через два года из-за туберкулеза, видел завод целиком тоже в первый раз. Говорит со злостью: «Это они парадную показывают, вот я бы вас повел в кузницы на Ривер, где половина работает в огне, а другая в грязи и воде».

Вечером мне говорили фордовцы — рабкоры коммунистической чикагской газеты «Дейли Воркер»:

— Плохо. Очень плохо. Плевательниц нет. Форд не ставит, говорит: «Мне не надо, чтоб вы плевались, — мне надо, чтобы было чисто, а если плеваться — надо вам покупать плевательницы самим».

...Техника — это ему техника, а не нам.

...Очки дает с толстым стеклом, чтоб не выбило глаз — стекло дорогое. Человеколюбивый. Это он потому, что при тонком стекле глаз выбивает и за него надо платить, а на толстом только царапины остаются, глаз от них портится все равно года через два, но платить не приходится.

...На еду 15 минут. Ешь у станка, всухомятку. Ему бы кодекс законов о труде с обязательной отдельной столовой.

...Расчет — без всяких выходных.

...А членам союза и вовсе работы не дают. Библиотеки нет. Только кино, и то в нем показывают картины только про то, как быстрее работать.

...Думаете, у нас несчастных случаев нет? Есть. Только про них никогда не пишут, а раненых и убитых вывозят на обычной фордовской машине, а не на краснокрестной.

...Система его прикидывается часовой (8-часовой рабочий день), на самом деле — чистая сделщина.

...А как с Фордом бороться?

...Сыщики, провокаторы и клановцы, всюду 80% иностранцев.

...Как вести агитацию на 54 языках?

В четыре часа я смотрел у фордовских ворот выходящую смену, — люди валились в трамваи и тут же засыпали, обессилив.

В Детройте наибольшее количество разводов. Фордовская система делает рабочих импотентами.

ОТЪЕЗД

Пристань компании «Трансатлантик» на конце 14-й улицы.

Чемоданы положили на непрерывно поднимающуюся ленту с планками, чтобы вещи не скатывались. Вещи побежали на второй этаж.

К пристани приставлен маленький пароходик «Рошамбо», ставший еще меньше от соседства огромной, как двухэтажный манеж, пристани.

Лестница со второго этажа презрительно спускалась вниз.

Просмотрев, отбирают выпускные свидетельства — свидетельство о том, что налоги Америки с заработавших в ней внесены и что в страну этот человек въехал правильно, с разрешения начальства.

Посмотрели билет — и я на французской территории, обратно под вывеску Фрэнчлайн и под рекламу Бисквит-компани-нейшенал — нельзя.

Рассматриваю в последний раз пассажиров. В последний, потому что осень — время бурь, и люди будут лежать влужку все 8 дней.

При приезде в Гавр я узнал, что на вышедшем одновременно с нами с соседней пристани «Конард Лайн» пароходе шесть человек проломили себе насквозь носы, упав на умывальник во время качки, перекатывающей волны через все палубы.

Пароход плохонький — особый тип: только первый и третий класс. Второго нет. Вернее, есть один второй. Едут

или бедные или экономные, да еще несколько американских молодых людей, не экономных, не бедных, а посылаемых родителями учиться искусствам в Париже.

Отплывал машущий платками, поражающий при въезде Нью-Йорк.

Повернулся этажами сорока, сквозной окнами Метрополитен-билдинг. Накиданными кубами разворачивалось новое здание телефонной станции, отошло и на расстоянии стало видно сразу все гнездо небоскребов: этажей на 45 Бененсон-билдинг, два таких же корсетных ящика, неизвестных мне по имени, улицы, ряды элевейтеров, норы подземок закончились пристанью. Потом здания слились зубчатой обрывной скалой, над которой трубой вставал 57-этажный Вульворт.

Замахнулась кулаком с факелом американская баба-свобода, прикрывая задом тюрьму Острова Слез.

Мы в открытом обратном океане. Сутки не было ни качки, ни вина. Американские территориальные воды, еще текущие под сухим законом. Через сутки появилось и то и другое. Люди полегли.

Осталось на палубе и в столовых человек 20, включая капитанов.

Шестеро из них — американские молодые люди: новеллист, два художника, поэт, музыкант и девушка, провожавшая, влезшая на пароход и любви ради уехавшая аж без французской визы.

Деятели искусства, осмыслив отсутствие родителей и прогибишена, начали пить.

Часов в пять брались за коктейли, за обедом уничтожали все столовое вино, после обеда заказывали шампанское, за десять минут до закрытия набирали бутылок под каждый палец; выпив все, слонялись по качающимся коридорам в поисках за спящим официантом.

Кончили пить за день до приплыва, во-первых, потому, что озверевший от вечного шума комиссар клятвенно обещал двух художников предать в руки французской полиции, не спуская на берег, а во-вторых, все шампанские запасы были уже выпиты. Может быть, этим объяснялась и комиссарская грозность.

Кроме этой компании, слонялся лысый старый канадец, все время надоедавший мне любовью к русским, сочувственно называя и справляясь у меня о знакомстве с бывшими

их
ых
де
о-
сь
ли
45
из-
д-
б-
к-
а-
ч-
це
и
я
о-
о-
ж
и
о-
т-
к
я
у,
р-
а-
и
х,
и

живыми и мертвыми князьями, когда-нибудь попадавшими на страницы газет.

Путались между дребезжащими столиками два дипломата: помощник парагвайского консула в Лондоне и чилийский представитель в Лигу Наций. Парагваец пил охотно, но никогда не заказывал сам, а всегда в порядке изучения нравов и наблюдения за молодыми американцами Чилиец пользовался каждой минутой просветления погоды и вылаза женщин на палубу, чтобы проявить свой темперамент или хотя бы сняться вместе на фоне сирены или трубы. И, наконец, испанец-купец, который не знал ни слова по-английски, а по-французски только:

— регардэ —

даже, кажется, «мерси» не знал. Но испанец так умело обращался с этим словом, что, прибавив жесты и улыбки, он целыми днями перебегал от компании к компании в форменном разговорном ажиотаже.

Опять выходила газета, опять играли на скоростях, опять отпраздновали томболу.

На обратном безлюдии я старался оформить основные американские впечатления.

Первое. Футуризм голой техники поверхностного импрессионизма дымов да проводов, имевший большую задачу революционизирования застывшей, заплывшей деревней психики — этот первобытный футуризм окончательно утвержден Америкой.

Звать и вещать тут не приходится. Перевози в Новороссийск фордзоны, как это делает Амторг.

Перед работниками искусства встает задача Лефа: не воспевание техники, а обуздание ее во имя интересов человечества. Не эстетическое любование железными пожарными лестницами небоскребов, а простая организация жилья

Что автомобиль?.. Автомобилей много, пора подумать, чтобы они не воняли на улицах.

Не небоскреб — в котором жить нельзя, а живут.

С-под колес проносящихся элевейтеров плюет пыль, и кажется — поезда переезжают ваши уши.

Не грохот воспевать, а ставить глушители — нам, поэтам, надо разговаривать в вагоне.

Безмоторный полет, беспроволочный телеграф, радио,

бусы, вытесняющие рельсовые трамваи, собвеи, унесшие под землю всякую видимость.

Может быть, завтрашняя техника, умильонивая силы человека, пойдет по пути уничтожения строек, грохота и прочей технической внешности.

Второе. Разделение труда уничтожает человеческую квалификацию. Капиталист, отделив и выделив материально дорогой ему процент рабочих (специалисты, желтые заправилы союзов и т. д.), с остальной рабочей массой обращается как с неисчерпаемым товаром.

Хотим — продадим, хотим — купим. Не согласитесь работать — выждем, забастуете — возьмем других. Покорных и способных облагодетельствуем, непокорным — палки казенной полиции, маузеры и кольты детективов частных контор.

Умное раздвоение рабочего класса на обыкновенных и привилегированных, невежество трудом высосанных рабочих, в которых после хорошо организованного рабочего дня не остается силы, нужной даже для мысли; сравнительное благополучие рабочего, выколачивающего прожиточный минимум; несбыточная надежда на богатство в будущем, смакуемая усердными описаниями вышедших из чистильщиков миллиардеров; настоящие военные крепости на углах многих улиц — и грозное слово «депортация» далеко отдалают какие бы то ни было веские надежды на революционные взрывы в Америке. Разве что откажется от каких-нибудь оплат долгов революционная Европа. Или на одной вытянутой через Тихий океан лапе японцы начнут подстригать когти. Поэтому усвоение американской техники и усилия для второго открытия Америки — для СССР — задача каждого проезжающего Америками.

Третье. Возможно, фантастика. Америка жиреет. Люди с двумя миллиончиками долларов считаются небогатыми начинающими юношами.

Деньги займы даются всем — даже римскому папе, покупающему дворец напротив, дабы любопытные не заглядывали в его папские окна.

Эти деньги берутся отовсюду, даже из тощего кошелька американских рабочих.

Банки ведут бешеную агитацию за рабочие вклады.

Эти вклады создают постепенно убеждение, что надо заботиться о процентах, а не о работе.

Америка станет только финансовой ростовщической страной.

Бывшие рабочие, имеющие еще неоплаченный рассрочный автомобиль и микроскопический домик, политый потом до того, что не удивительно, что он вырос и на второй этаж, — этим бывшим может казаться, что их задача — следить, как бы не пропали их папские деньги.

Может статься, что Соединенные Штаты сообщат последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела, — тогда история сможет написать хороший, типа Уэльса, роман «Борьба двух светов».

Цель моих очерков — заставить в предчувствии далекой борьбы изучать слабые и сильные стороны Америки.

«Рошамбо» вошел в Гавр. Безграмотные домики, которые только по пальцам желают считать этажи, на час расстояния гавань, а когда мы уже прикручивались, берег усеян оборванными калекми, мальчишками.

С парохода кидали ненужные центы (считается — «счастье»), и мальчишки, давя друг друга, дорывая изодранные рубахи зубами и пальцами, впивались в медяки.

Американцы жирно посмеивались с палубы и щелкали моментальными.

Эти нищие встают передо мной символом грядущей Европы, если она не бросит пресмыкаться перед американской и всякой другой деньгой.

Мы ехали к Парижу, пробивая тоннелями бесконечные горы, легшие поперек.

По сравнению с Америкой жалкие лачуги. Каждый вершок земли взят вековой борьбой, веками истощаем и с аптекарской мелочностью использован под фиалки или салат. Но даже это презираемое за домик, за земельку, за свое, даже это веками обдуманное цепляние казалось мне теперь невероятной культурой в сравнении с бивуачным строем, рваческим характером американской жизни.

Зато до самого Руана на бесконечных каштанных проселочных дорогах, на самом густом клочке Франции мы встретили всего один автомобиль.

1925—1926

ПРИМЕЧАНИЯ

*Примечания, помещенные непосредственно
под текстом стихотворений, сделаны автором.*

А вы могли бы? Впервые напечатано без заглавия в футуристическом сборнике «Требник троих», М. 1913.

Послушайте! Напечатано без заглавия в «Первом журнале русских футуристов», М. 1914.

Гимн судье. Опубликовано под заглавием «Судья» в журнале «Новый сатирикон», 1915, 26 февраля, № 9. О сотрудничестве в журнале «Новый сатирикон» Маяковский говорит в автобиографии: «В рассуждении чего б покушать стал писать в «Новом сатириконе». Поэт сумел использовать популярный журнал как трибуну для обличения буржуазии и царизма.

Военно-морская любовь. Впервые напечатано в журнале «Новый сатирикон», 1915, № 25.

Надоело. Впервые напечатано в журнале «Новый сатирикон», 1916, 10 ноября, № 46, под заглавием «Лучше не называть». Заглавие «Надоело» дано в сборнике «Все сочиненное Владимиром Маяковским», П. 1919.

Анненский И. Ф. (1856—1909) — русский поэт-декадент.

Леонардо да Винчи (1452—1519) — великий итальянский художник и ученый эпохи Возрождения.

Рябое... — Запрещенные цензурой строки отмечались отточием.

«Простое как мычание» — сборник стихов Маяковского, вышедший в 1916 г. в издательстве А. М. Горького «Парус».

Дешевая распродажа. Впервые опубликовано в журнале «Новый сатирикон», 1916, 24 ноября, № 48.

Пьерпонт Морган — один из крупнейших представителей финансовой олигархии США.

На Надеждинской... — В то время Маяковский жил в Петрограде на Надеждинской улице (ныне улица Маяковского).

Последняя петербургская сказка. Впервые опубликовано в сборнике «Все сочиненное Владимиром Маяковским», П. 1919.

Запирую на просторе я — перефразировка строки из поэмы Пушкина «Медный всадник».

Сенат — высший судебный-административный орган в дореволюционной России.

Гренадин — прохладительный напиток, который пьют через соломинку.

Революция (Поэтохроника). Впервые напечатано в газете «Новая жизнь» 21 мая (3 июня) 1917 г.

Волынский полк Петроградского гарнизона — первым перешел на сторону революции в феврале 1917 года.

В военной автомобильной школе Маяковский служил в 1915—1917 годах. В автобиографии поэт отмечает: «Пошел с автомобилями к Думе... Принял на несколько дней команду Автошколой... Пишу в первые же дни революции поэтохронику «Революция».

Марсельский марш — Марсельеза.

Купол Думы — купол Таврического дворца, где происходили заседания Государственной думы.

Марат Жан-Поль (1743—1793) — виднейший деятель французской буржуазно-демократической революции XVIII века, героически боровшийся с контрреволюцией.

Сказка о красной шапочке. Впервые напечатано под заглавием «Сказочка», с подзаголовком «Цвету интеллигенции посвящаю», в газете «Новая жизнь» 30 июля (12 августа) 1917 г.

Кадеты — члены буржуазной конституционно-демократической партии.

К ответу! Впервые напечатано в газете «Новая жизнь» 9 (22) августа 1917 г.

Хорошее отношение к лошадям. Впервые опубликовано в газете «Новая жизнь» 9 июня 1918 г.

Поэт рабочий. Впервые напечатано в газете «Искусство Коммуны» 22 декабря 1918 г.

Левый марш. О том, как создавалось это стихотворение, Маяковский рассказывал, выступая в Доме Комсомола 25 марта 1930 года: «Мне позвонили из бывшего Гвардейского экипажа и потребовали, чтобы я приехал читать стихи, и вот я на извозчике написал «Левый марш». Конечно, я раньше заготовил отдельные строфы...» С чтением этого стихотворения Маяковский выступал в Матросском театре, бывшем Гвардейском экипаже, 17 декабря 1918 года. О том, какое большое политическое значение придавал Маяковский этому стихотворению,

свидетельствует тот факт, что поэт на протяжении многих лет «Левым маршем» заканчивал обычно свои выступления. Особо следует отметить чтение Маяковским «Левого марша» 12 мая 1923 года на площади Свердлова и на Советской площади — на митингах протеста против убийства 10 мая товарища В. В. Воровского и ультиматума английского министра Керзона Советскому Союзу (9 мая). Впервые «Левый марш» напечатан в газете «Искусство Коммуны», 12 января 1919 г.

Владимир Ильич. Написано во второй половине апреля 1920 года в связи с пятидесятилетием В. И. Ленина. Маяковский выступил с чтением этого стихотворения на «Ленинском вечере» в Доме печати 28 апреля 1920 года. Впервые напечатано в петроградской «Красной газете», утренний выпуск, 5 ноября 1922 г.

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Впервые напечатано в сборнике «Лирень», М. 1920.

Сиди, рисуй плакаты... — Маяковский в 1919—1922 годах работал над текстами и рисунками агитплакатов Российского телеграфного агентства, которые назывались «Окна Роста».

Гейнеобразное. Впервые напечатано в сборнике «Лирень», М. 1920.

Сказка о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла его самого и семью шкурника. Написана, повидимому, до разгрома Врангеля, то есть до ноября 1920 года; отдельной брошюрой с рисунками Маяковского издана в 1921 году.

«Окна Роста», — писал Маяковский, — фантастическая вещь. Это обслуживание горстью художников вручную стопятидесятимиллионного народища... Точное количество «Окон Роста» не установлено, но их было выпущено более 1000. В статье «Только не воспоминания...» Маяковский отметил: «Подписи делались в подавляющем количестве мною», а в заметке «Окна сатиры Роста» подчеркивает: «Лозунги и тексты — почти все мои». «Окна Роста» свидетельствуют о громадной работе поэта-агитатора, силою слова боровшегося за дело Ленина — Сталина в годы гражданской войны и послевоенной разрухи.

Рабочий! Глупость беспартийную выкинь! — первое «Окно Роста», созданное Маяковским.

Партийная неделя началась 8 октября 1919 года, во время денкинского наступления.

Последняя страничка гражданской войны. Впервые напечатано в журнале «Бов» (Боевой отряд весельчаков), М. 1921, № 1.

О дряни. Этим стихотворением начинался цикл произведений Маяковского, в которых поэт бичует пережитки капитализма в сознании советских людей. Напечатано в первом советском сатирическом журнале «Бов» в июле 1921 г.

Сказка для шахтера-друга про шахтерки, чуни и каменный уголь. Впервые напечатано в газете «Горняк», органе ЦК Союза горнорабочих, 10 апреля 1921 г.

Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе. Место первоначального напечатания не установлено.

Приказ № 2 армии искусств. Впервые напечатано в журнале «Вещь», изд. под редакцией И. Эренбурга, Берлин, 1922, март — апрель, № 1—2, и в сборнике «Маяковский издевается», М. 1922.

П е н т р (франц.) — живописец.

И м а ж и н и с т и к и , а к м е и с т и к и — декадентские литературные группы.

А к а д е м и ч е с к и й п а е к — ежемесячный продовольственный паек; выдавался советским правительством в 1919—1922 годах ученым, писателям, деятелям искусства.

Прозаседавшиеся. Впервые напечатано в «Известиях», 5 марта 1922 г. под заглавием «Наш быт (прозаседавшиеся)». Перепечатано в сборнике «Маяковский издевается», М. 1922, под заглавием «Прозаседавшиеся». В докладе «О международном и внутреннем положении Советской республики» на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 года Ленин так отзывался об этом стихотворении: «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно. Мы, действительно, находимся в положении людей (и надо сказать, что положение это очень глупое), которые все заседают, составляют комиссии, составляют планы — до бесконечности... Практическое исполнение декретов, которых у нас больше чем достаточно и которые мы печем с той торопливостью, которую изобразил Маяковский, не находит себе проверки» (В. И. Ленин. Сочинения. 4-е изд., т. 33, стр. 197—198).

Т е о — театральный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе РСФСР.

Г у к о н — Главное управление коннозаводства при Наркомземе.

Моя речь на Генуэзской конференции. Стихотворение впервые напечатано в «Известиях» 12 апреля 1922 г. Генуэзская конференция проходила 10 апреля — 19 мая 1922 года с участием представителей

Советской России и многих капиталистических стран. Империалисты, учитывая хозяйственные затруднения Советской России, пытались навязать ей кабальные условия соглашений, но безуспешно. Они требовали уплаты царских долгов, возвращения иностранцам предприятий и т. д. Советская делегация отвергла наглые требования империалистов и, в свою очередь, внесла предложения о всеобщем разоружении, о признании Советской России де-юре, аннулировании военных долгов, возмещении Советской России ущерба, нанесенного иностранной интервенцией.

М а т е н — крупная французская буржуазная реакционная газета.

Т а й м с — одна из крупнейших английских газет, официоз английского правительства.

Пуанкаре — французский политический деятель, шовинист, милитарист, прозванный французскими рабочими «Пуанкаре война», один из вдохновителей первой мировой войны 1914—1918 годов, злейший враг советской власти, один из инициаторов интервенции и блокады Советской России.

Л л о й д - Д ж о р д ж — английский премьер-министр в 1916—1922 годах; его правительством было одобрено участие Англии в интервенции против Советской России.

Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней). Написано после первого посещения Маяковским Парижа (ноябрь 1922 г.). Напечатано в журнале «Красная нива», 1923, март, № 9.

Эйфелева башня построена в Париже инженером Эйфелем в 1889 году. Высота 300 метров.

Place de la Concorde — площадь Согласия.

О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах. Впервые напечатано в «Известиях» 21 февраля 1923 г. В статье «С неба на землю» (в Бюллетене Прессбюро Агитпропа ЦК ВКП(б), 1923) Маяковский писал: «Во всех газетах до сих пор мелькают привычные, но никому не понятные, ничего не выражающие уже фразы: «проходит красной нитью», «достигло апогея», «дошло до кульминационного пункта», «потерпела фиаско» и т. д. и т. д. до бесконечности. Этими образами пишущий хочет достигнуть высшей образности — достигается только непонятность... Иностранщина из учебников, безобразная безобразность до сих пор портит язык, которым пишем мы. А в это время поэты и писатели, вместо того, чтобы руководить языком, забрались в такие заоблачные выси, что их и за хвост не вытащишь... Надо бы попросить господ поэтов слезть с неба на землю».

Ф и а с к о (итал.) — неуспех, неудача, провал.

Апогей (греч.) — высшая точка, расцвет чего-нибудь (например, апогей славы, могущества и пр.).

Стиннес Гуго — представитель германской финансовой плутократии.

Мы не верим! Напечатано в журнале «Огонек», 1923, апрель. Правительственные бюллетени о состоянии здоровья В. И. Ленина печатались ежедневно с 9 марта 1923 года в связи с резким обострением болезни Владимира Ильича.

Воровский. Напечатано в «Известиях» 20 мая 1923 г., в день прибытия в Москву тела полпреда СССР в Италии, убитого фашистами в Лозанне.

Весенний вопрос. Напечатано в журнале «Красная нива», 1923, № 14.

Керзон. Один из памфлетов, объединенных общим заглавием «Маяковская галерея». Впервые опубликован в журнале «Красная новь», 1923, июнь—июль, № 4.

Лозанна — город в Швейцарии, где в 1922—1923 годах происходила конференция, утвердившая мирный договор между Турцией и Англией, Францией, Италией, Грецией и другими государствами, воевавшими против Турции.

Гомперс. Из цикла памфлетов «Маяковская галерея». Впервые опубликован в отдельном издании 1923 г.

Киев. Впервые напечатано в киевской газете «Пролетарская правда» 2 марта 1924 г.

Перун — бог грома у древних славян.

Аскольд и Дир — первые киевские князья (IX в.), имена которых приводятся в летописи.

Владимир — великий князь Киевский, принявший христианство в 988 году. Православной церковью был причислен к лику святых. На Владимирской горке в Киеве ему был установлен памятник.

Столыпин — председатель совета министров царского правительства; с его именем связана жесточайшая реакция в России после революции 1905 года. Убит в Киеве в 1911 году.

Подол — промышленная часть Киева.

Крещатик — главная улица в Киеве.

Комсомольская. Напечатано в журнале «Молодая гвардия», 1924, № 2—3.

Селькор. Напечатано в журнале «Красный перец», 1924, октябрь, № 24.

Юбилейное. Написано в связи с 125-летием со дня рождения А. С. Пушкина. Напечатано в сборнике «О Курске, о комсомоле и

мае...», М. 1924, и в журнале «Леф», 1924, № 2. О своем отношении к А. С. Пушкину Маяковский говорил, выступая 26 мая 1924 года на диспуте о задачах литературы и драматургии: «Вот Анатолий Васильевич (Луначарский) упрекает в неуважении к предкам, а я месяц тому назад, во время работы, когда Брик начал читать «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, не мог оторваться и слушал до конца и два дня ходил под обаянием четверостишия:

Я знаю, жребий мой измерен,
Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет накладывать нам петлю на шею, тысячу раз учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли». В этой речи Маяковский, цитируя Пушкина, допустил неточность — у Пушкина: «Я знаю, век уж мой измерен».

На в у х о д н о с о р — вавилонский царь, разоривший после осады Иерусалим.

Ко о п с а х — кооператив сахарной промышленности. На вывесках на синем фоне изображалась сахарная голова среди оранжевых лучей.

Red и White Star (англ.) — «Красная» и «Белая звезда» — название трансатлантических пароходных компаний.

Entrepous (франц.) — между нами.

Надсон С. Я. (1862—1887) — русский поэт-лирик. Художественное мастерство Надсона, в котором отразился упадок стиха в последней четверти XIX века, не удовлетворяло Маяковского.

О д н а р о б р а з н ы й п е й з а ж — словообразование Маяковского, сочетающее два слова: однообразный и наобраз.

Д а н т е с — убийца Пушкина, аристократ, реакционер.

Пролетарий, в зародыше задуши войну. Написанное к десятилетию империалистической войны стихотворение было напечатано в «Известиях» 3 августа 1924 г.

How do you do (англ.) — Как вы себя чувствуете?

Good bye (англ.) — до свидания.

П о к е р — азартная карточная игра; ф л е ш - р о я л ь — самая сильная комбинация карт в этой игре.

К о л ь т — американская система автоматических пистолетов, пулеметов.

Прочь руки от Китая! Стихотворение написано в связи с организацией в СССР общества «Руки прочь от Китая». Напечатано в «Известиях» 21 сентября 1924 г.

Владикавказ — Тифлис. Написано в августе 1924 года во время пребывания Маяковского в Тбилиси. Первоначальная редакция стихотворения напечатана в тбилисской газете «Заря Востока» 3 сентября 1924 г.; окончательная редакция — в сборнике «Только новое», М. 1925.

Я — грузин... — Маяковский родился в Грузии, в селе Багдади, Кутаисской губ., свободно владел грузинским языком.

Архалук — мужской полукафтан.

Карабах — порода кавказских горных лошадей.

Ройльс — автомобили фирмы «Рольс-Ройс».

Муша (*грузинск.*) — грузчик, носильщик тяжестей.

Шота Руставели — великий грузинский поэт XII—XIII вв., автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

Тамара — грузинская царица (1184—1213).

Мхолот шенэртсрац, ромчемтвис моуция маглидган гмертс (*грузинск.*) — «Тебе одной все, что дано мне с высот богом» — из песни Шалва Дадиани, ставшей народной.

Арсен Джорджиашили — грузинский революционер, рабочий железнодорожных мастерских в Тбилиси, участник вооруженного восстания 1905 года; 16 января 1906 года бросил бомбу в генерала Грязнова, жестоко подавлявшего революционное движение в Грузии. Арсен под пытками не выдал товарищей, погиб геройской смертью. Маяковский знал сложенные грузинским народом песни об Арсене.

Алиханов-Аварский — генерал, усмиритель крестьянского восстания в Кутаисской губ. в 1906 году; был убит в 1907 году.

Мадчари (*грузинск.*) — неперебродившее вино.

Шаири (*грузинск.*) — форма народного стиха.

Тамара и Демон. Впервые напечатано в журнале «Красная новь», 1925, № 2.

Коган П. С. (1872—1932) — критик и историк литературы. Был президентом Академии художественных наук в Москве.

Выволакивайте будущее! Впервые напечатано в орловской газете «Правда молодежи» 31 мая 1925 г.

Еду. Напечатано в журнале «Прожектор», 1925, 30 июня, № 12.

Город. Напечатано в журнале «Прожектор», 1925, № 12.

Эррио — французский буржуазный политический деятель, один из лидеров партии радикал-социалистов; с июля 1924 по апрель

1925 года был премьер-министром французского правительства, признавшего в октябре 1924 года СССР де-юре.

Notre-Dame. Стихотворение напечатано в альманахе «Красная новь», 1925.

Версаль. Напечатано в журнале «Красная новь», 1925, № 5.

Версаль — бывшая резиденция французских королей со времени Людовика XIV.

Капет — Людовик XVI, французский король; казнен по приговору Конвента 21 января 1793 года.

Помпадур — маркиза, фаворитка французского короля Людовика XV.

Трианон большой и маленький — дворцы в Версале.

Кафе. Впервые напечатано в газете «Парижский вестник», Париж, 3 июня 1925 г.

Буа де Булонь — парк в Париже.

Кулидж — президент США в 1923—1929 годах; резко враждебно относился к Советской России.

Жорес. Впервые напечатано в альманахе «Красная новь», 1925. Маяковский был в Париже в ноябре 1924 года во время церемонии перенесения в Пантеон праха Жореса, французского социалиста, убитого реакционерами в первые дни войны в 1914 году.

Прощанье. Первая публикация стихотворения не установлена.

6 монахинь. Напечатано в журнале «Прожектор», 1925, № 16, под заглавием «Монашки».

Лев и Пий — имена римских пап.

Атлантический океан. Впервые напечатано в «Известиях» 15 августа 1925 г.

Блек энд уайт. Напечатано в журнале «Красная новь», 1926, № 1.

Лимитейд — акционерное общество.

Мелкая философия на глубоких местах. Впервые напечатано в газете «Вечерняя Москва» 14 декабря 1925 г.

Бродвей. Первое из стихотворений, написанных Маяковским в США. В Нью-Йорк Маяковский прибыл 31 июля 1925 года, стихотворение написано 6 августа; напечатано в «Красной ниве», 1926, № 4, январь.

Бродвей — одна из главных улиц в Нью-Йорке.

Барышня и Вульворт. Напечатано в журнале «Экран», 1925, № 37.

Небоскреб в разрезе. Впервые напечатано в журнале «Красная нива», 1926, 3 января, № 1.

Бруклинский мост. Напечатано в журнале «Прожектор», 1925, № 24, декабрь.

Бруклинский мост в Нью-Йорке — один из самых больших подвесных мостов.

Юнайтед стетс оф Америка — Соединенные Штаты Америки.

Мангеттен — остров, на котором расположена центральная часть Нью-Йорка.

Порядочный гражданин. Впервые напечатано в газете «Бакинский рабочий» 26 февраля 1926 г.

Кемп «Нит гедайге» — лагерь «Не унывай». В лагере Маяковский бывал неоднократно, выступал с чтением стихов в сентябре 1925 года. Стихотворение впервые напечатано в журнале «Красная новь», 1926, № 2.

Домой! Написано после возвращения Маяковского из Америки в конце 1925 года. Напечатано в журнале «Молодая гвардия», 1926, январь, № 1. Последняя часть и заключительные строки вдохновлены выступлением товарища Сталина на XIV съезде ВКП(б) (декабрь, 1925 г.).

Разговор с фининспектором о поэзии. Полностью текст впервые напечатан в журнале «Новый мир», 1926, № 10. Отдельным изданием стихотворение вышло в 1926 году в изд. «Закнига», Тифлис. В статье «А что вы пишете?», опубликованной 28 мая 1926 года, Маяковский указывал на недостатки в работе советских писателей, которые побуждали его выступить с этим стихотворением. «Главной работой, — утверждает Маяковский, — главной борьбой, которую сейчас необходимо вести писателю, это — общая борьба за качество. Качество писательской продукции (в связи с этим и положение писателя в нашем советском обществе) чрезвычайно пошатнулось, понизилось, дискредитировалось». Рассматривая искусство как оружие политической борьбы, Маяковский бичевал «писательскую бессовестную разухабистую халтурщину», требовал общего улучшения постановки литературного дела, установления теснейшей связи издательств с читательской массой, поднятия на должную высоту литературной критики.

Багдадские небеса... — село Багдади, где родился Маяковский.

Сергею Есенину. Впервые опубликовано в тбилисской газете «Заря Востока» 16 апреля 1926 г. О своей работе над этим стихотворением Маяковский рассказывает подробно в статье «Как делать стихи».

На посту — критики и писатели, объединявшиеся вокруг журнала «На посту» — руководящего органа РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей).

Англетер — гостиница в Ленинграде, где поэт Есенин покончил с собой 27 декабря 1925 года.

С о б и н о в — знаменитый русский оперный певец. В числе наиболее популярных его ролей была роль Леоэнгрина в одноименной опере Вагнера.

«Н и с л о в а , о д р у г м о й , н и в з д о - о - о х а» — из романа Чайковского, на слова Плещеева.

Марксизм — оружие, огнестрельный метод. Применяя умеючи метод этот! Напечатано в журнале «Журналист», 1926, май, № 5, в разделе «Дискуссия» под общим заголовком «Писатели о критике». Стихотворение направлено против вульгаризирующих марксизм критиков и литературоведов, которые, искажая ленинское учение об освоении культурного наследства, пытались определять значение творчества великих писателей, исходя из их социального происхождения.

Послание пролетарским поэтам. В этом стихотворении, напечатанном в «Комсомольской правде» (литературная страница) 13 июня 1926 г., Маяковский призывает к объединению прогрессивных сил советской литературы, протестует против проводившейся РАППом политики противопоставления писателей, сгруппировавшихся вокруг РАППа, всем другим советским писателям, политики, которая была осуждена партией.

Английскому рабочему. Напечатано в «Известиях» 6 мая 1926 г. Стихотворение написано в связи с всеобщей забастовкой английских рабочих, вспыхнувшей 4 мая 1926 года. В газете стихотворение было напечатано на одной полосе с «Письмом английским коммунистам» Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала, информационными сообщениями о ходе стачки, призывами МОПРа, Исполбюро Профинтерна и других организаций о помощи английским стачечникам.

Б о л д у и н — английский реакционный государственный деятель, лидер консервативной партии, враг Советского Союза, вдохновитель антисоветских провокаций, приведших в 1927 году к разрыву дипломатических отношений между Англией и СССР.

М а к д о н а л ь д — один из наиболее видных руководителей английских лейбористов; будучи премьером «рабочего» правительства в 1924 году и в 1929—1931 годах, проводил политику английского империализма.

Ц е р е т е л и т ь — произведено от фамилии видного меньшевика Церетели, бывшего министром в коалиционном правительстве Керенского. После Октябрьской революции — ярый враг Советского государства, эмигрант.

Московский Китай. Стихотворение написано в связи с событиями Китайской революции 1925—1926 годов. Впервые опубликовано в журнале «Прожектор» 15 мая 1926 г.

Ч ж а н Ц з о - л и н, У П е й - ф у — китайские милитаристы.

Товарищу Нетте — пароходу и человеку. Стихотворение впервые опубликовано в «Известиях» 22 августа 1926 г.

Т е о д о р Н е т т е — дипломатический курьер Наркоминдела. Убит фашистами 5 февраля 1926 года в поезде на территории Латвии во время героической защиты им дипломатической почты. Его именем был назван один из пароходов Черноморского флота.

Я к о б с о н Р. — лингвист и стиховед.

Разговор на Одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия». Напечатано в журнале «Новый мир», 1926, декабрь, № 12.

Краснодар. Напечатано в журнале «Красная нива», 1926, июнь, № 24.

Э т ц е т е р а — написано русскими буквами латинское «et setera» — «и прочес».

Праздник урожая. Напечатано в «Известиях» 6 октября 1926 г.

Долг Украине. Напечатано в «Известиях» 31 октября 1926 г. Первые четыре строки — цитата из «Майской ночи» Гоголя.

Ч а р л и Ч а п л и н и Д у г л а с Ф е р б е н к с — американские киноактеры.

«Ч у е ш ь, с у р м ы з а г р а л и, ч а с р а с п л а т ы в а с т а в...» — строки из украинского текста «Интернационала».

Две Москвы. Напечатано в «Известиях» 12 сентября 1926 г.

Не юбилейте! Напечатано в «Известиях» 7 ноября 1926 г. Стихотворение написано к девятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Сифилис. Напечатано в журнале «Молодая гвардия», 1926, апрель, № 4.

Тропики. Напечатано в газете «Красный Крым», Симферополь, 11 июля 1926 г.

Канцелярские привычки. Напечатано в «Известиях» 29 августа 1926 г.

Нашему юношеству. Впервые напечатано в журнале «Новый Леф», 1927, февраль, № 2.

Б р д л е р Ш а р л ь, М а л л а р м е С т е ф а н — французские поэты-декаденты.

Б у л ь в а р д ь е (франц.) — завсегдатай кафе-ресторанов.

Лучший стих. Напечатано в газете «Труд» 23 марта 1927 г.

Лена. Стихотворение написано к пятидесятилетию ленского расстрела, напечатано в газете «Труд» 17 апреля 1927 г.

Л е н з о т а — Лензолото — акционерное общество золотопро-

мышленников в царской России, эксплуатировавшее Ленские прииски в Сибири.

Осторожный марш. Напечатано в газете «Рабочая Москва» 31 мая 1927 г. под заглавием: «Иди по республике, тревожная весть: фронта нет, но опасность есть!»

Аркос — акционерное торговое общество, учрежденное советской кооперативной делегацией в Лондоне в 1920 году для развития торговых отношений между Советской Россией и Англией. В мае 1927 года английская полиция совершила провокационный налет на «Аркос», за чем последовал разрыв англо-советских дипломатических отношений. Восстановлены дипломатические отношения были в 1929 году.

Господин народный артист. Напечатано в «Комсомольской правде» 2 июня 1927 г.

Ну, что ж! Напечатано в «Комсомольской правде» 12 июня 1927 г.

Призыв. Напечатано в «Комсомольской правде» 12 июня 1927 г.

«Ленин с нами». Напечатано в газете «Труд» 16 апреля 1927 г.

Мощь Британии. Напечатано в газете «Труд» 20 апреля 1927 г.

Гевлок Вильсон — руководитель английского союза моряков.

Общее руководство для начинающих подхалим. Напечатано в «Комсомольской правде» 18 июня 1927 г.

Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела. Напечатано в газете «Рабочая Москва» 17 июля 1927 г.

Наглядное пособие. Написано в связи с появившимся 22 июля 1927 года в газете сообщением о похоронах 57 рабочих, погибших во время венского восстания. Напечатано в «Комсомольской правде» 23 июля 1927 г.

Зейц — бургомистр Вены, социал-демократ.

Письмо к любимой Молчанова, брошенной им... Напечатано в газете «Комсомольская правда» 4 октября 1927 г. Эти стихи Маяковского являются ответом на пошлое, мещанское стихотворение И. Молчанова «Свидание», опубликованное в «Комсомольской правде» 25 сентября 1927 г.

Пастораль (франц.) — в старинной поэзии стихотворение, воспевающее идиллическую любовь пастуха и пастушки.

Баку. Написано в Баку в начале декабря 1927 года. Напечатано в газете «Заря Востока», Тифлис, 3 декабря 1927 г. К тексту, напечатанному в «Комсомольской правде», Маяковским даны примечания: «**Башня Девья** — старинная башня в Баку, в которой еще огнепоклонники поддерживали вечный огонь, зажигая идущие

из земли нефтяные газы. Д е т е р д и н г — владыка английской нефти, ведущий борьбу против советской».

Чудеса! Напечатано в газете «Рабочая Москва» 28 сентября 1927 г.

Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру. Напечатано в «Правде» 18 февраля 1928 г.

Десятилетняя песня. Написано к десятилетию Красной Армии, опубликовано в 1928 году к дню Красной Армии в четырех газетах: в «Пионерской правде» 22 февраля и в «Ленинградской правде», «Рабочей газете» и газете «Смена» — 23 февраля.

Лозунги-рифмы. Написано к десятилетию Красной Армии, напечатано в «Комсомольской правде» 23 февраля 1928 г.

Служака. Напечатано в «Комсомольской правде» 19 июня 1928 г.

Трус. Напечатано в журнале «Крокодил», 1928, июль, № 28.

Казань. Напечатано в «Комсомольской правде» 7 июля 1928 г.

Евпатория. Напечатано в газете «Вечерняя Москва» 13 августа 1928 г.

Земля наша обильна. Напечатано в «Комсомольской правде» 23 августа 1928 г.

Секрет молодости. Впервые напечатано в экстренном выпуске «Рабочей Москвы» — однодневной газете МК ВЛКСМ «Идут легионы», выпущенной к XIV Международному юношескому дню 2 августа 1928 г.

Галопщик по писателям. Напечатано в газете «Читатель и писатель» 8 сентября 1928 г. Стихотворение является ответом на опубликованную в журнале «Красная новь» злопыхательскую статью Д. Тальникова об очерках и стихах Маяковского о загранице, в которой Тальников стремился дискредитировать громадную политическую работу великого поэта-агитатора.

Подлиза. Напечатано в журнале «Крокодил», 1928, ноябрь, № 44.

Столп. Напечатано в журнале «Крокодил», 1928, сентябрь, № 36.

Сплетник. Напечатано в журнале «Крокодил», 1928, декабрь, № 47.

Парижанка. Напечатано в «Женском журнале», 1929, февраль, № 2.

Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви. Напечатано в журнале «Молодая гвардия», 1929, январь, № 1.

Костров — в то время редактор «Комсомольской правды».

Красавицы. Впервые напечатано в «Женском журнале», 1929, июль, № 7.

Grande opéra — Большой оперный театр в Париже.

У б и г а н я т с я — слово произведено от «Убиган» — модных в то время духов.

Р е ф ы — члены литературной группы «Революционный фронт искусств».

Ш е н ш и л я — дорогой мех.

Стихи о разнице вкусов. Напечатано в журнале «Чудак», 1929, январь, № 2.

Вонзай самокритику! Напечатано в газете «Рабочая Москва» 2 июня 1929 г.

Урожайный марш. Напечатано в «Комсомольской правде» 3 февраля 1929 г.

Разговор с товарищем Лениным. Напечатано в «Комсомольской правде» 20 января 1929 г.

Американцы удивляются. Напечатано в «Рабочей газете» 14 сентября 1929 г.

На западе все спокойно. Напечатано в «Комсомольской правде» 2 июля 1929 г.

Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка. Напечатано в журнале «Чудак», 1929, ноябрь, № 46.

Стихи о советском паспорте. Напечатано после смерти Маяковского в журнале «Огонек», 1930, 30 апреля, № 12, с ошибочным подзаголовком «Неизданное стихотворение В. Маяковского». Стихотворение датировано: «Июль, 1929». Опубликовано при жизни Маяковского в сборнике «Туда и обратно», 1929, декабрь.

Марш ударных бригад. Напечатано в газете «Электрозавод» 4 января 1930 г.

Птичка божия. Напечатано в сборнике «Туда и обратно», изд. «Федерация», 1930.

С ко на п е л ь л я п о э з и (*франц.* — *Ce qu'on appelle la poesie*) — то, что называется поэзией.

Ленинцы. Написано к шестой годовщине со дня смерти В. И. Ленина, напечатано в «Комсомольской правде» 21 января 1930 г.

Во весь медногорлый гудочный клич. Напечатано в журнале «Швейник», 1930, январь, № 2.

Марш двадцати пяти тысяч. Написано в связи с постановлением пленума ЦК ВКП(б) о мобилизации 25 тысяч рабочих на работу в колхозах. Впервые появилось в печати 29 января 1930 г. в новгородской газете «Звезда».

Что такое хорошо и что такое плохо. Впервые вышло в изд. «Прибой», 1925.

Эта книжечка моя про моря и про маяк. Впервые вышло в изд. «Молодая гвардия», 1927.

Возьмем винтовки новые. Напечатано в «Пионерской правде» 18 июня 1927 г.

Майская песенка. Напечатано в журнале «Еж», 1928, апрель, № 4.

Кем быть? Впервые вышло в Госиздате, 1929.

Песня-молния. Впервые напечатано под заглавием «Вперед» в «Пионерской правде» 25 августа 1929 г.

Мое открытие Америки (очерки). Работа над путевыми очерками начата Маяковским во время поездки в Мексику и США и закончена по его возвращении в Москву. Отдельные части и отрывки впервые напечатаны были в различных советских журналах и газетах: «Красная новь», «Новый мир», «Красная нива», «Бакинский рабочий» и др. Полностью текст очерков был напечатан в книге «Мое открытие Америки», изданной в августе 1926 года. «Цель моих очерков,— говорил Маяковский,— заставить в предчувствии далекой борьбы изучить слабые и сильные стороны Америки».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А вы могли бы?	39
Американцы удивляются	431
Английскому рабочему	283
Антанта признавала Юденича	106
Атлантический океан	222
Баку	365
Барышня и Вульворт	236
Блек энд уайт	226
Бродвей	233
Бруклинский мост	243
Версаль	205
Весенний вопрос	138
Владикавказ — Тифлис	183
Владимир Ильич	66
Во весь медногорлый гудочный клич	454
Военно-морская любовь	43
Возьмем винтовки новые	465
Вонзай самокритику!	423
Воровский	136
Враг последний готов!	107
Врангель—фон	105
Выволакивайте будущее!	193
Галопщик по писателям	399
Гейнеобразное	73
Гимн судье	41
Гомперс	147
Город	198
Господин народный артист	336
Две Москвы	302
Десятилетняя песня	376
Дешевая распродажа	46
Долг Украине	299
Домой!	255

Евпатория	392
Еду	195
Если жить вразброд	102
Жорес	213
Земля наша обильна	394
История про бублики и про бабу, не признающую республики	103
К ответу	58
Казань	389
Канцелярские привычки	319
Кафе	209
Кем быть?	468
Кемп «Нит гедайге»	251
Керзон	141
Киев	153
Комсомольская	157
Красавицы	420
Краснодар	294
<u>Левый марш</u>	64
Лена	330
«Ленин с нами»	342
Ленинцы	450
Лозунги-рифмы	379
Лучший стих	327
Майская песенка	467
Марксизм — оружие, огнестрельный метод. При- меняй умеючи метод этот!	272
Марш двадцати пяти тысяч	455
Марш ударных бригад	444
Мелкая философия на глубоких местах	230
Мое открытие Америки	479
Московский Китай	286
Мощь Британии	347
Моя речь на Генуэзской конференции	124
Мускул свой, дыхание и тело тренируй с поль- зой для военного дела	355
Мы не верим!	134

На Западе все спокойно	433
Наглядное пособие	358
Надоело	44
Нашему юношеству	322
Не юбилейте!	306
Небоскреб в разрезе	240
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче	69
Нормализованная гайка	98
Notre-Dame	201
Ну, что ж!	339
О дряни	111
О «фиасках», «апогеях» и других неведомых ве- щах	131
Общее руководство для начинающих подхалим	351
Оружие Антанты — деньги	96
Осторожный марш	334
Париж (<i>Разговорчики с Эйфелевой башней</i>)	127
Парижанка	412
Песня-молния.	475
Письмо к любимой Молчанова, брошенной им	361
Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущно- сти любви	415
Подлиза	403
Порядочный гражданин	248
Послание пролетарским поэтам	277
Последняя петербургская сказка	48
Последняя страничка гражданской войны	109
Послушайте!	40
Поэт рабочий	62
Праздник урожая	296
Призыв	340
Приказ № 2 армии искусств	119
Прозаседавшиеся	122
Пролетарий, в зародыше задуши войну!	173
Прочь руки от Китая!	181
Прошу слова	88
Прощанье	217
Птичка божия	447
Рабочий! Глупость беспартийную выкинь!	92
Рабочий, не смотри Антанте в рот	100

Разговор на Одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия»	292
Разговор с товарищем Лениным	428
<u>Разговор с фининспектором о поэзии</u>	258
Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру	372
Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка	437
Революция (<i>Поэтохреника</i>)	50
Секрет молодости	397
Селькор	162
Сергею Есенину	266
Сифилис	311
Сказка для шахтера-друга про шахтерки, чуни и каменный уголь	113
Сказка о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла его самого и семью шкурника	74
Сказка о красной шапочке	57
Служака	381
Сплетник	409
Стихи о разнице вкусов	422
Стихи о советском паспорте	440
Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссий- ском масштабе	116
Столп	406
<u>Тамара и Демон</u>	188
Товарищу Нетте — пароходу и человеку	289
Тропики	317
Трус	385
Урожайный марш	426
Утешение буржую	95
Хорошее отношение к лошадям	60
Читайте!	94
Чудеса!	369
Что такое хорошо и что такое плохо	458
6 монахинь	218
Эта книжечка моя про моря и про маяк	462
Юбилейное	164

СОДЕРЖАНИЕ

В. Перцов. Великий поэт советской эпохи	3
---	---

СТИХОТВОРЕНИЯ 1913—1930

Стихотворения 1913—1917

А вы могли бы?	39
Послушайте!	40
Гимн судье	41
Военно-морская любовь	43
Надоело	44
Дешевая распродажа	46
Последняя петербургская сказка	48
Революция (<i>Поэтохроника</i>)	50
Сказка о красной шапочке	57
К ответу!	58

Стихотворения 1918—1920

Хорошее отношение к лошадям	60
Поэт рабочий	62
Левый марш	64
Владимир Ильич	66
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче	69
Гейнеобразное	73
Сказка о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла его самого и семью шкурника	74

Окна сатиры Роста

Прошу слова	88
Рабочий! Глупость беспартийную выкинь! . . .	92
Читайте!	94
Утешение буржую	95
Оружие Антанты — деньги	96
Нормализованная гайка	98
Рабочий, не смотри Антанте в рот	100
Если жить вразброд	102
История про бублики и про бабу, не признающую республики	103
Врангель—фон	105
Антанта признавала Юденича	106
Враг последний готов!	107

Стихотворения 1921—1930

Последняя страничка гражданской войны . . .	109
О дряни	111
Сказка для шахтера-друга, про шахтерки, чуни и каменный уголь	113
Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссий- ском масштабе	116
Приказ № 2 армии искусств	119
Прозаседавшиеся	122
Моя речь на Генуэзской конференции	124
Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней)	127
О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах	131
Мы не верим!	134
Воровский	136
Весенний вопрос	138
Керзон	141
Гомперс	147
Киев	153
Комсомольская	157
Селькор	162
Юбилейное	164
Пролетарий, в зародыше задуши войну! . . .	173
Прочь руки от Китая!	181
Владикавказ — Тифлис	183
Тамара и Демон	188

Выволакивайте будущее!	193
Еду	195
Город	198
Notre-Dame	201
Версаль	205
Кафе	209
Жорес	213
Прощанье	217
6 монахинь	218
Атлантический океан	222
Блек энд уайт	226
Мелкая философия на глубоких местах	230
Бродвей	233
Барышня и Вульворт	236
Небоскреб в разрезе	240
Бруклинский мост	243
Порядочный гражданин	248
Кемп «Нит гедайге»	251
Домой!	255
Разговор с фининспектором о поэзии	258
Сергею Есенину	266
Марксизм — оружие, огнестрельный метод. При- меняй умеючи метод этот!	272
Послание пролетарским поэтам	277
Английскому рабочему	283
Московский Китай	286
Товарищу Нетте — пароходу и человеку	289
Разговор на Одесском рейде десантных судов «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия»	292
Краснодар	294
Праздник урожая	296
Долг Украине	299
Две Москвы	302
Не юбилейте!	306
Сифилис	311
Тропики	317
Канцелярские привычки	319
Нашему юношеству	322
Лучший стих	327
Лена	330
Осторожный марш	334
Господин народный артист	336

Ну, что ж!	339
Призыв	340
«Ленин с нами»	342
Мощь Британии	347
Общее руководство для начинающих подхалим	351
Мускул свой, дыхание и тело тренируй с поль- зой для военного дела	355
Наглядное пособие	358
Письмо к любимой Молчанова, брошенной им...	361
Баку	365
Чудеса!	369
Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру	372
Десятилетняя песня	376
Лозунги-рифмы	379
Служака	381
Трус	385
Казань	389
Евпатория	392
Земля наша обильна	394
Секрет молодости	397
Галопщик по писателям	399
Подлиза	403
Столп	406
Сплетник	409
Парижанка	412
Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущ- ности любви	415
Красавицы	420
Стихи о разнице вкусов	422
Вонзай самокритику!	423
Урожайный марш	426
Разговор с товарищем Лениным	428
Американцы удивляются	431
На Западе все спокойно	433
Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка	437
Стихи о советском паспорте	440
Марш ударных бригад	444
Птичка божия	447
Ленинцы	450
Во весь медногорлый гудочный клич...	454
Марш двадцати пяти тысяч	455

Стихи детям

Что такое хорошо и что такое плохо	458
Эта книжечка моя про моря и про маяк	462
Возьмем винтовки новые	465
Майская песенка	467
Кем быть?	468
Песня-молния	475

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ	479
--------------------------------	-----

ПРИМЕЧАНИЯ	559
----------------------	-----

Алфавитный указатель	575
--------------------------------	-----

Редактор *Г. Граник*

Художник *В. Смирнов*

Художеств. редактор *Н. Мухин*

Технич. редактор *Д. Ермоленко*

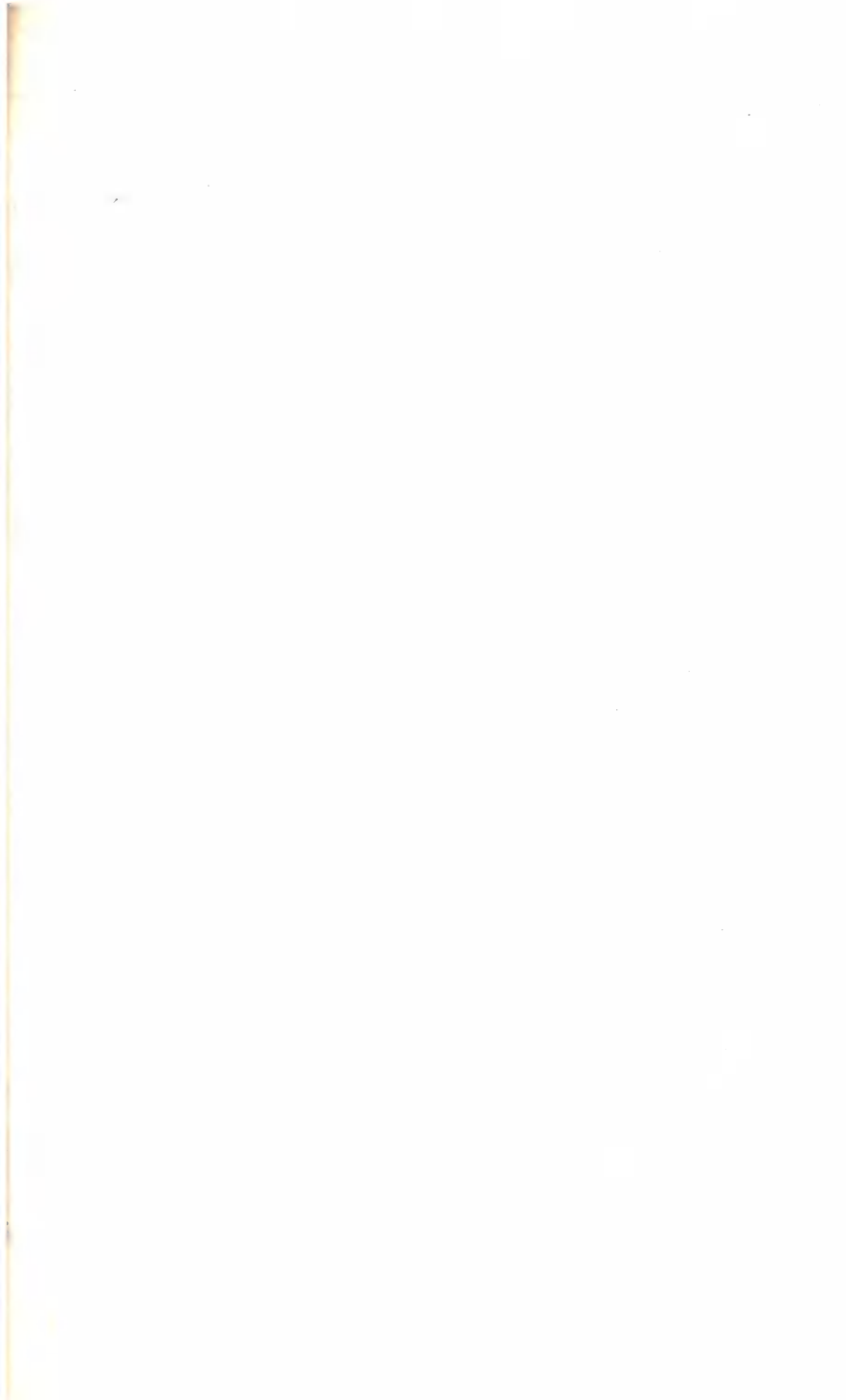
Корректор *Е. Мезис*

Сдано в набор 27/X 1954 г. Подписано
к печати 19/I 1955 г. А00422. Бумага
 $84 \times 108\frac{1}{32}$ —36,5 печ. л. = 29,93 усл.
печ. л. 27,55 уч.-изд. л. + 4 вкл. = 27,75 л.
Тираж 150 000 экз. Цена 13 р. 20 к.
Заказ № 1934
Гослитиздат

Москва, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР. Глав-
ное управление полиграфической про-
мышленности. Первая Образцовая
типография имени А. А. Ждазова,
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

15



13 p. 2041.

DOCUMENTS
1955

ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ

1